ОЛЬГА ЛЮБАТОВИЧ

ДАЛЕКОЕ И НЕДАВНЕЕ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТКАТОРЖАН
1930


ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО
ОБЩЕСТВА
ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН
И
ССЫЛЬНО-
ПОСЕЛЕНЦЕВ



О. ЛЮБАТОВИЧ

ДАЛЕКОЕ И НЕДАВНЕЕ

редакция
В. НЕВСКОГО и П. АНАТОЛЬЕВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ
1 9 МОСКВА 3 0

Главлит № А—47294. Тираж 4.000.

Типография газ. «Правда». Москва, Тверская, 48.

О ВОСПОМИНАНИЯХ О. С. ЛЮБАТОВИЧ

Среди народовольческих мемуаров воспоминания Ольги Спиридоновны Любатович занимают совершенно особое место. Захватывая последний период в истории Земли и Воли, а затем начальную историю Народной Воли, они эту тему излагают так, что не могут не потребовать специального комментария.

Уже их начало крайне своеобразно: это скорее надгробная речь с обычным в таких случаях личным обращением, чем воспоминания. Если образ Сергея Кравчинского, теперь хорошо известного читателю и под своей фамилиею и под псевдонимом Степняка, послужил для Любатович толчком к написанию мемуаров, то читателю нетрудно будет установить и то, что этот образ витает также над другими их страницами. Отдельные лица, факты, даже целые страницы революционной истории заносятся на страницы воспоминаний Любатович главным образом потому, что их порождают ассоциативные связи, идущие от Кравчинского. Так попадает, напр., Клеменц, и первая же его характеристика (что есть, повидимому, самое существенное для его оценки с точки зрения Любатович) — это то, что он «старый и близкий друг Кравчинского»; Александр Михайлов, крупнейший деятель Земли и Воли и Народной Воли, попал на страницы мемуаров опять-таки прежде всего потому, что оказался на том собрании, где Любатович познакомилась с Кравчинским и т. д. и т. д. Если в характеристике самого Кравчинского нас, быть может, не столь удивит, когда Любатович пишет об «изумительных способностях» или «гигантских силах» Кравчинского, то совсем иначе, но после сказанного понятно, прозвучит тот пассаж ее воспоминаний, где она полагает, что будь Кравчинский «менее щепетилен в нравственном отношении, будь он только честолюбцем, он мог бы сразу прогреметь на всю Европу, а, может быть, и повернуть по своему колесо истории». Это могло бы, конечно, нас не занимать излишне.

если бы не связывалось и с историческою стороною дела. Действительно, Любатович не только превозносит личность Кравчинского, но, по ее мнению, напр., вся история Земли и Воли вообще делится на два периода, и второй из них связан с именами, по мнению Любатович, «главным образом» Кравчинского и Н. А. Морозова, «которые и придали ей тот новый яркий характер. каким запечатлелась деятельность этой организации конца 78 и первой половины 79 г., продолжением которой является Липецкий съезд, а затем потрясшая весь мир своею борьбою организация Народной Воли. Этими двумя именами, Сергея Кравчинского и Н. А. Морозова, определяется, по существу, содержание воспоминаний Любатович, и как первая часть воспоминаний Любатович связана с именем Кравчинского, и отчасти Н. А. Морозова, так вторая целиком связана с именем Н. А. Морозова. И в последней части воспоминаний факты революционной истории и фигуры деятелей революционного движения (за исключением, быть может, одного только экскурса о Желябове, слишком уже крупной величине, чтобы не всплыть в памяти самостоятельно) всплывают по связи с Н. А. Морозовым. Такова, напр., даже характеристика Тихомирова, которого Любатович пришлось ввести в повествование главным образом для того, чтобы противопоставить его Н. А. Морозову. Таков же отдел о программе Исполнительного Комитета, на котором мы еще остановимся далее и который занимает центральное место в народовольческой части воспоминаний. С точки зрения этих имен и волновавших этих деятелей событий и лиц, таким образом, всплывает в памяти автора прошлое; располагаются в повествовании свет и тени; даются положительные и отрицательные характеристики (напр., Плеханова, который «благополучно» избежал ареста на Казанской площади 6 декабря 1876 г.; о нем же позднее говорится, как он и другие «деятельно вели книжную пропаганду», «оставаясь на свободе»). Менее всего заинтересована Любатович самой собою и своей личной деятельностью. По ее воспоминаниям никак нельзя установить степени ее участия ни в Земле и Воле, ни в Народной Воле, и о том, какое она положение занимала в этих организациях, нам приходится справляться у других мемуаристов. Можно сказать, что во всей нашей историко-революционной литературе воспоминания Ольги Любатович являются единственным, пожалуй, примером таких воспоминаний, где бы главенствующую роль играл не столько сам автор, сколько избранные им — надеюсь, что не будет слишком резко сказано, если употреблю эти слова,— избранные им герои.

Только что сказанное влечет за собою дальнейшие последствия, весьма существенные с точки зрения исторического значения этих воспоминаний. Напрасно при таких свойствах автора искать собственных его оценок: оценки здесь могут явиться только как отраженный свет, источник которого после сказанного нетрудно уже определить. Действительно, мы увидим, что перед нами именно те взгляды, которые когда-то защищал Н. А. Морозов (и лишь отчасти Кравчинский, литературно-политически не выступавший в 1879 — 1880 гг.). Это вынуждает нас сделать некоторый экскурс в область идейных разногласий того времени, когда Н. А. Морозов занял совершенно особую позицию в среде народовольцев и остался в идейном одиночестве, из которого он сам сделал выводы, которые мы теперь привыкли называть организационными выводами. Только таким путем мы сможем наглядно показать читателю полное соответствие между одним из интереснейших эпизодов в деле идейной консолидации Исполнительного Комитета Народной Воли и позднейшею защитой, в какую столь часто в таких случаях обращаются мемуары стороны, потерпевшей в борьбе поражение.

То событие, которое называют именем Липецкого съезда, не имело, повидимому, ни основополагающего программного, ни организационного значения. Оценивая позднее (1906 г.) Липецкий съезд, Тихомиров писал, что он «не имел никакого особенного значения и ни о каких решениях его в буквальном смысле нельзя и говорить». Действительно, Липецкий съезд был лишь одним из существеннейших эпизодов в деле организационного оформления будущего Исполнительного Комитета, но не больше. Лишь когда после разрыва, в августе, сентябре и еще позднее началось и состоялось обсуждение и принятие программы и устава новой организации, лишь тогда могли и должны были столкнуться противоречия взглядов и стремлений в среде Исполнительного Комитета и лишь тогда мог быть окончательно решен вопрос, что совместимо и что несовместимо с народовольчеством.

При современном состоянии источников, когда нам известны не только официальные документы Народной Воли, как то ее программа и ее публицистика, но когда в виде мемуаров, писем и показаний мы обладаем разнообразным материалом для ознакомления с внутреннею историею народовольческой организации, мы можем определенно утверждать, что Народная Воля в момент выработки основных своих программных документов отнюдь не была группою в полном смысле этого слова единой. Здесь были народники в подавляющем числе, но была

и якобинка Ошанина, был и сторонник социал-демократии Зунделевич; наряду со многими недавними бакунистами были сторонники недавних киевских переговоров с либералами-конституционалистами и т. д. Одним словом, этот блок (как правильнее всего было бы политически определить создавшееся положение) недавних различных течений объединился в Народной Воле на некоторой общей платформе. Естественно, что она не могла быть уже очень узка. И однако, как увидим, и для такой широкой политической платформы не все оказывалось приемлемым. Что именно оказалось неприемлемым, для иллюстрации этого вопроса нам надо хотя бы в общих чертах охарактеризовать тогдашнюю позицию Н. А. Морозова.

Среди писаний Н. А. Морозова за 1880 г. наибольшую известность получила его брошюра «Террористическая борьба» и только она, на самом деле, сыграла известную политическую роль. Поэтому для характеристики взглядов Н. А. Морозова приходится остановить внимание читателя именно на ней [1].

Н. А. Морозов отправляется в этой брошюре от мысли о невозможности массовой революции. Ни «большое деревенское восстание» невозможно вследствие «разрозненности крестьянского населения», ни невозможно восстание «городского пролетариата» вследствие его незначительного количества в России. К тому же массовое движение «стихийно» и в нем «люди нередко встают друг против друга в силу простого недоразумения». Вот поэтому, вследствие невозможности массовой революции, которая победила бы вооруженное «армией и штыками» правительство, на сцену должна появиться третья сила — интеллигенция и на место массовой революции должна быть поставлена в порядок дня «борьба интеллигенции с правительством». Но для Н. А. Морозова и нет никакой принципиальной разницы между этими тремя революциями — крестьянскою, рабочей и интеллигентской, — это только «разные формы одной и той же революции». Отказавшись от мысли о массовом движении вполне и до конца, Н. А. Морозов для интеллигенции, действующей во имя интересов народа, но без какого бы то ни было участия этого народа, должен был выдвинуть такой способ борьбы, который давал бы возможность действовать в борьбе с сильнейшим правительством «горсти людей», «кучке людей», «незначительным личным силам» — ряд таких обозначений разбросан

[1] Н. Морозов. Террористическая борьба. Лондон, 1880. Русская типография. Уже В. Я. Богучарский указал, что брошюра печаталась не в Лондоне, а в Женеве (см. Процесс 20-ти народовольцев, Ростов-на-Дону, 1906, стр. 90, прим.).

у Н. А. Морозова для обозначения действующих революционеров. Разумеется, что Н. А. Морозов мог предложить им только террор. И террористическая борьба обращается у Н. А. Морозова в единственный, единственно возможный и единственно сулящий успех способ борьбы с правительством. Именно она, действуя против «всемогущего врага» путем «тайных убийств» и в «непроницаемой тайне», вырвет у правительства удовлетворение поставленных ею требований. Террористическая борьба достигнет цели потому, что она «бессмертна», так как «ее способ борьбы входит в жизнь, делается традиционным». И в области организационных проблем задачи террористической революции выливаются в новые формы. Того централизма, который выработан был еще Землею и Волею, нет в террористической организации Н. А. Морозова. Существующий Исполнительный Комитет Народной Воли для Н. А. Морозова (он называет его не слишком уважительно «существующей теперь террористической группой») лишь одна из таких необходимых для успеха террористических групп. Н. А. Морозов желает, чтобы наряду с Исполнительным Комитетом «возник целый ряд самостоятельных террористических обществ, которые, узнав друг друга в борьбе, соединятся в одну общую организацию».

Итак полный отрыв террора от задач массовой революции и превращение его в самодовлеющее орудие борьбы «горсти» интеллигенции, а также неразрывно связанное с этим отрицание той боевой централизованной организации, которую создало движение семидесятых годов в виде Исполнительного Комитета с заменою его партизанскими отрядами, находящимися между собою в отношениях довольно, как видим, неопределенных, ибо даже их федерация — это дело лишь будущего, результат их самостоятельных выступлений, а не предпосылка таковых.

Мог ли Исполнительный Комитет Народной Воли примириться с такими точками зрения? Нет ни одного документа, который принадлежал бы кому-либо из тогдашних народовольцев и который проводил бы подобные взгляды. На суде по делу первого марта признанный вождь Народной Воли, Желябов, счел нужным даже прямо отмежеваться от брошюры Н. А. Морозова: «К ней, как партия,— говорил Желябов,—мы относимся отрицательно и просили эмигрантов не пускаться в суждения о задаче русской социально-революционной партии, пока они за границей, пока они беспочвенники». Мало того, Желябов считал взгляды Морозова, за которые «делают ответственными»

народовольцев, «отголоском прежнего направления, когда, действительно, некоторые из членов партии, узко смотревшие на вещи, в роде Гольденберга, полагали, что вся наша задача состоит в расчищении пути через политические убийства». В. Н. Фигнер рассказывает в своих воспоминаниях, что когда брошюра Н. А. Морозова дошла до России, то «в Комитете была мысль напечатать в партийном органе («Народная Воля») возражение», хотя потом эта мысль и была оставлена. По словам В. Н. Фигнер, «Народная Воля никогда не смотрела на свои задачи так узко, как вопрос ставили в брошюре». Народная Воля «верила,—пишет В. Н. Фигнер,—в народ и хотела опираться на него. Ее деятельность не была жестом отчаяния, вызванным разочарованием в народных массах»[1].

Однако, характер расхождения Н. А. Морозова с Народной Волей, конечно, не мог получить своего полного выражения в его брошюре. Зато в некоторых сохранившихся документах того времени организационная сторона происшедшего в среде Исполнительного Комитета конфликта находит себе частичное освещение. В особенности в тогдашнем письме к В. Н. Фигнер[2] Н. А. Морозов очень ярко изобразил то положение, в которое он был поставлен в первые же месяцы существования Исполнительного Комитета. «Ворохи статей», которые он «писал к каждому номеру «Народной Воли», отвергались, и Н. А. Морозов,— что не без значения для дальнейшего,— прямо винит в этом Тихомирова, именно который признавал их «негодными». Н. А. Морозов тут же заявляет себя противником политической программы Народной Воли — лозунга Учредительного собрания, а также противником организационного принципа — централизма («централизм это — чиновничество, а не товарищество»). То положение, которое создалось в результате идейного конфликта, сказалось сперва в том, что А. Д. Михайлов предложил Н. А. Морозову «бросить стр(емление?) писать принципиальные статьи и употребить себя на хронику и тому подобное». Но когда Н. А. Морозов в виде выхода из этого положения захотел поехать с Любатович на юг для занятий с молодежью, то и Михайлов и Желябов заявили, что они не могут «быть отправлены для этого», потому что, как пишет Н. А. Морозов, «представителями партии мы быть не можем, ибо расходимся с ней во взглядах и стали бы вредно влиять на моло-

[1] Дело о совершенном 1 марта 1881 г. злодеянии..., Спб., 1881, стр. 177; В. Фигнер, «Запечатленный труд», т. I, изд. 2-е, М., 1928, стр. 294—295.

[2] Оно напечатано самою В. Н. Фигнер в ее статье, приложенной к книге М. Горбунова «Журналистика Народной Воли», М., 1930.

дежь, воспитывая ее в духе своих личных мнений» (далее Н. А. Морозов зачеркнул в черновике письма поясняющие слова: «т.-е. террористических, а не земского собора»). Резюмируя свой идейный и организационный разлад, Н. А. Морозов с горечью кончает, что в конце-концов «ничего и не оставалось, что связывало бы с компанией; ни идеи, ни товарищества — и нитка порвалась».

Приехав за границу Н. А. Морозов предпринял ряд разнообразных организационно-политических шагов. Как узнаем из письма к нему М. Ланганса, от 22 мая (3 июня) 1880 г., Н. А. Морозов носился с мыслью объединения находящихся за границей революционеров, и Ланганс в ответном письме, соглашаясь с Н. А. Морозовым, считал, что «крайне необходим конгресс социалистов-террористов за границей», предлагая это устроить в Бухаресте. В печати уже появились материалы о сношениях Н. А. Морозова с набатовцами [1], но переписка Н. А. Морозова с Аксельродом показывает, что он был готов войти в союз и с чернопередельцами: Н. А. Морозов заявляет, что с теоретическою программою аксельродовской Земли и Воли он «в п о л н е (подч. Н. А. Морозовым) согласен», «за исключением двух-трех незначительных пунктов», и расходится лишь в практической части, защищая террор; но тут же Н. А. Морозов ограничивает его значение и тем, что это для него отнюдь не средство захвата власти и с якобинством ничего общего не имеет, и тем, что как только станет возможна пропаганда в народе, террор оканчивается. Попытка сойтись с чернопередельцами должна была кончиться полным фиаско, чего можно было заранее ожидать после столкновения Плеханова и Н. А. Морозова на Воронежском съезде (впрочем любопытно, что Аксельрод относился к Плеханову в этот момент с некоторою воздержанностью из-за его «народничества», хотя оговаривал, что оно в «Черн. Переделе» № 1 «существенно отличается от грубого народничества»); переговоры с набатовцами тоже, повидимому, не налаживались, да и сам он пришел к заключению, что фракция их «не существует». И в конце 1880 г. у Н. А. Морозова назревает стремление вернуться вновь в Россию. В декабре 1880 г. Н. А. Морозов писал Исполнительному Комитету, что «признает себя виновным» в происшедшем, что он «решил быть всегда вашим (т.-е. И. К.) союзником и действовать в ваших интересах», а 4 января, во втором письме, благодаря народовольцев за то, что

---

[1] С. В а л к. Г. Г. Романенко. «Кат. и Ссылка», 1928, №. 11, стр. 37 и сл. Далее цитируются некоторые неиспользованные в этой статье документы.

они «не помнят старых недоразумений», вновь писал, что «за этот промежуток времени мне много пришлось передумать относительно себя и других, и многое из прошлого мне стало представляться совершенно в другом свете».

Известно, что Н. А. Морозов был арестован тотчас после перехода границы и с этого момента мы можем ввести в ход событий Ольгу Любатович. По воспоминаниям, здесь печатаемым, о чем см. далее, мы увидим, что она в течение 1879—1880 гг. была верным единомышленником Н. А. Морозова. Весть об аресте, как об этом тоже известно из воспоминаний Любатович, заставила ее поехать в Россию с надеждою устроить освобождение Н. А. Морозова, и, как известно из этих же воспоминаний, ее надежды устроить освобождение в Сувалках рушились [1]. Ко времени перевода Морозова в Дом предварительного заключения относятся новые попытки Любатович, которые должны нас заинтересовать, так как в связи с ними завязалась переписка, содержание которой непосредственно примыкает к нашей теме.

Мы видели, что Н. А. Морозов в своих последних письмах, казалось, примирился с Исполнительным Комитетом. Однако, в заключении у него, повидимому, вновь взяли верх сепаратистские тенденции, и то, что он советует в своих письмах Любатович, является резким разрывом с Исполнительным Комитетом. Н. А. Морозов пишет Любатович, что она «одна» является теперь «представительницей терроризма», и на ней «лежит обязанность не дать ему заглохнуть». Практический совет заключенного Н. А. Морозова: «заводи сношения, организуй партию в ожидании меня»—вел Любатович на старые пути 1880 г., на испробованные в эмиграции пути создания террористической партии помимо Народной Воли [2]. Любатович последовала этим

[1] К имеющимся в воспоминаниях данным можно добавить некоторые фактические подробности по документам двух дел Министерства Юстиции: 1881 г., № 8610, «О Бол. Корсаке, Ольге Кафиеро и др.», и 1887 г., № 9974, «О В. Иохельсоне и О. Павелко». Сама мысль освобождения, по словам письма В. Иохельсона к О. Павелко от 16 февраля 1882 г., укрепилась у Любатович потому, что «ей там представили дело в ложном свете, чтобы сразу ее не поразить, и она думает, что плевое дело их выручить». Любатович поехала в Россию в сопровождении В. Иохельсона и Олимпиады Кутузовой-Кафиеро; к ним присоединен был в Петербурге В. Серпинский. Кафиеро обратила на себя внимание попытками собрать в Сувалках, где содержался Н. А. Морозов, сведения о нем, а также увидеться с ним, и была 20 марта арестована. Серпинский был арестован 27 марта в Вильне. В. Иохельсон уехал обратно за границу.

[2] Дознание о дочери инженера Ольге Любатович. «Былое», 1907, № 8, стр. 295—296.

советам. Об этом нам рассказывает В. Н. Фигнер: «От Народной Воли она (Любатович) отмежевалась и обнаруживала большую неприязнь к нашей организации. Народовольцы, в свою очередь, выражали неудовольствие, так как, предполагая завести свою особую террористическую фракцию, Любатович пользовалась прежними связями, стараясь использовать их в своих видах» [1]. Мы совсем не знаем, что удалось и чего не удалось сделать на этом поприще Любатович. Но с этими настроениями и планами ее ожидала судьба, столь обычная для революционера: 6 ноября 1881 г. она была арестована [2]. Практическая катастрофа, ее теперь постигшая, не изменила ее убеждений и ее взглядов на Народную Волю и, как увидим, они нашли свою

[1] В. Фигнер. «Запечатленный труд», изд. 2-е, М., 1928, стр. 296; А. П. Прибылева-Корба в своих «Заметках о книге Богучарского» пишет: «Что касается О. С. Любатович, то она не состояла в Исполнительном Комитете со времени своего отъезда за границу». («Народная Воля», М., 1926, стр. 193).

[2] Любатович попала в сферу наблюдения в сентябре 1881 г. вместе с Татьяной Лебедевой. 26 октября она скрылась из Петербурга и была задержана в Москве на улице. В заключении Любатович прилагала много усилий для того, чтобы попасть в процесс вместе с Н. А. Морозовым и возводила на себя самые невероятные преступления. Вот что, напр., она заявила о взрыве под Москвой 19 ноября 1879 г., где она даже не была: «перед взрывом остались в доме Сухорукова только Перовская и я для того, чтобы сомкнуть цепь при проезде государя, что я и сделала». Даже у прокурора не возникало ни малейших сомнений о характере и цели этих показаний, и он не включил их содержания в свой доклад министру юстиции (т. наз. «заключение») по делу Любатович (Дело Мин. Юстиции, 1882 г., № 9100, «О побеге из Ялуторовска сосланной за государственное преступление Ольги Любатович», лл. 3 об., 18—18 об.).

С заключением Любатович связаны два эпизода, имеющие связь со стремлением правительственных кругов, а затем и Священной дружины войти в сношение с народовольцами. Первый эпизод нашел отражение в воспоминаниях Любатович (параллель к ее рассказу см. в пересказе С. Кравчинским тогдашнего письма Любатович к нему, «Группа Освобождение труда», М. 1924, т. I, стр. 53). Второй связан с посредничеством Николадзе в переговорах Священной дружины и Исполнительного Комитета. Некоторые сведения об этом эпизоде имеются в записке К. Бороздина и в примечаниях к ней Николадзе («Былое», 1907, № 10, стр. 152—153, 166). По словам последнего, Михайловский или Кривенко «посоветовали» ему «просить об освобождении Любатович». То, как представил это дело Бороздин в кругах, рисуется, однако, гораздо ярче, чем в его напечатанной записке (1883 г.), в тех его листках, которые он представлял в Священную дружину в ходе самого эпизода, и которые частью сохранились в собрании П. Я. Дашкова (Рукоп. отделение Академии Наук СССР). В первой записке (без даты, копия) Бороздин пишет, что «Х (это и есть Николадзе) говорит, что необходимо девицу Любатович.. освободить на поруки отцу ее...», что «Х находится в близких и дружеских отношениях к девице Любатович и ручается, что она сделает под его влиянием самые подробные разъяснения». Записка от 11 ноября детальнее и ее стоит привести целиком:

запоздалую апологию на страницах воспоминаний, которые ныне предлагаются читателю.

Переходя теперь к этим повествованиям О. Любатович, нетрудно установить влияние всего ею пережитого на ретроспективное у нее изложение событий того времени. Пусть читатель хотя бы вспомнит (выше это уже отмечено), что средний период воздействия на Землю и Волю и Народную Волю Кравчинского и Н. А. Морозова обрамлен у Любатович начальным периодом Земли и Воли до их участия, с одной стороны (1876 — 1878 гг.), и позднейшим периодом Народной Воли (1880 и сл. гг.), тоже без Н. А. Морозова, с другой.

Чем была Земля и Воля в первый период своей истории? Это был, по словам Любатович, «кружок с нечаевскими традициями», который «потерял на время престиж в революционном мире». Чем стала Народная Воля после того, когда была принята составленная Тихомировым программа? «Якобинский оттенок, — пишет Любатович, — приданный Тихомировым программе Исполнительного Комитета, являлся как бы возрождением нечаевщины, как политической программы, давно потерявшей кредит в революционном мире» и т. д. и т. д.; Любатович кончает, подобно отмеченной выше «потере престижа» «нечаевскою» Землею и Волею и здесь тем, что этот факт принятия программы «не только дал неправильную окраску одному из наиболее ярких периодов революционной борьбы, но сообщил и ложное направление будущему». Для утверждения этой отрицательной характеристики Любатович приводит так-

---

«В виду вопроса об освобождении Л. на поруки ее отца, Х. откладывает свой отъезд за границу и просит завтра же сказать ему положительно: состоится ли это освобождение. Этим освобождением Х. рассчитывает достигнуть следующих результатов: 1) Он хороший знакомый Л. и она имеет к нему доверие. Ее легко настроить и за это он берется — на настоящую пропаганду против всяких замыслов проявлений террористических, объясняя ей, что если она выполнит это, то может тем содействовать смягчению участи мужа своего Морозова. 2) Прежде чем выехать за границу, Х. при свидании с Л. объяснит ей все это и поручит ей: а) свидание с главарями петербургской организации, б) противодействие всяким нелегальным деятелям народовольческой партии, в) устроить свидание его, Х., с главарями здешней организации, после возвращения его из-за границы».

В упомянутых своих примечаниях в записке Бороздина Николадзе писал, что Любатович он встречал «один или два раза в жизни», и недоумевает: «каким же ее доверием я мог располагать». Весьма возможно, что Бороздин, как вообще он делал, так и здесь, говорит от себя, а не от Николадзе. Но именно в эти дни решилась судьба Любатович: Священная дружина своего не добилась, а 17 ноября 1882 г. состоялось высочайшее повеление о препровождении ее в распоряжение генерал-губернатора Восточной Сибири (упомянутое дело Мин. Юст., л. 25 об.).

же суждение Кравчинского, который считал «в революции все жанры хорошими, кроме якобинского и самодержавного», но ее корни, конечно, лежат в приведенных выше мнениях Н. А. Морозова. И в дальнейших оценках Любатович мы столкнемся со столь же полным тождеством ее взглядов и взглядов Н. А. Морозова. Мы приводили уже мнение В. Н. Фигнер о разногласиях народовольцев с Н. А. Морозовым по вопросу о народе. Любатович тоже, по ее словам, «пока простилась» с идеалом «peuple souverain», с «несбыточными», как она говорит в другом месте, надеждами на народ. На место «исчезнувшей иллюзии народной революции» в порядок дня должна была стать «партизанская борьба с правительством — террор», «вооруженная борьба с правительством один на один». Эта романтическая идея Н. А. Морозова для Любатович является единственным критерием при изложении идейных разногласий того времени. Ничего другого Любатович не видела в спорах, напр., вокруг программы Исполнительного Комитета: на смену принципам Липецкого съезда (таких принципов у других авторов, кроме Н. А. Морозова, мы не находим), признававшим, по словам Любатович, «главною целью» «дезорганизацию правительства посредством партизанской террористической борьбы с ним», в основу программы лег отрицаемый ею принцип захвата власти «путем политического заговора».

Достаточно, думается, даже немногого сказанного, чтобы утверждать, что точка зрения Любатович в полной мере повторяет взгляды Н. А. Морозова и что факты прошлого излагаются ею с точки зрения именно этих взглядов.

Теперь нетрудно будет установить, что́ в воспоминаниях Любатович является результатом той специфической призмы, сквозь которую преломляются ее взгляды. Однако, в этих воспоминаниях есть еще некоторые черты, мимо которых нельзя пройти читателю. Нам придется вернуться теперь к началу нашего изложения и перейти от политического и принципиального обратно вновь к личному в воспоминаниях Любатович.

То, что Любатович моралистка, то, что у нее вопрос о нравственных основаниях деятельности встает не один раз — это нас не удивило бы, так как для семидесятых годов такая постановка вопроса является довольно обычной. Стоит вспомнить «Исторические письма» Лаврова! Но то, как Любатович приводит эти «нравственные принципы» на службу своему изложению и как превращает этим свое изложение в полемическую защиту стародавних позиций — это именно необходимо отметить. Если Любатович выступает против якобинства, потому что оно грозит

«нравственною смертью всей организации и всему революционному движению», то такой прием оценки не делает ее уже столь одинокою в мемуарах народовольцев. Но личная окраска ее мемуаров с незаметною легкостью перекидывает морализм из сферы принципов в область житейских отношений, и тогда на место разногласий у Любатович будут поставлены раздоры, при чем, разумеется, противники ее героев будут действовать не вполне благовидными средствами. Так, напр., такой важнейший в истории Народной Воли момент, как выработка программы и обнаружившиеся расхождения вокруг нее окажутся, по словам Любатович, «вызванными Тихомировым» (который, кстати, в другом месте у Любатович, вообще «уклонялся формулировать свои взгляды»), а победа Тихомирова будет им одержана при помощи «домашних» средств (хождения «по домам сочленов», «домашнего голосования» и т. п.), о которых наиболее заинтересованные узнали «post factum». Навряд ли найдется читатель, которому нужно было бы теперь еще специальное разъяснительное примечание, толкующее, почему здесь Любатович так изобразила дело.

Любопытно, что воспоминания Любатович не лишены указаний, немногих, правда, на социальные корни ее идеологии. В двух местах ее повествования встают две антитезы, и победа оба раза оказывается на аналогичном полюсе. Базаров и Кирсанов, поднимающийся разночинец и уходящий в прошлое дворянин, из этих двух фигур Любатович выбирает себе в родные именно Кирсанова (хотя, «может быть», и не без примеси «крови какой-нибудь Фенички») и причисляет себя к числу тех, кто вырос в «атмосфере мечтательного идеализма», а отнюдь не к тем, кто «привык трезво смотреть» на народ «еще с колыбели». Другая антитеза не менее красочна — средневековый рыцарь и германский социал-демократ: «русский революционер», по словам Любатович, «был ближе к христианским рыцарям средних веков, чем к немецким социалистам лассалевского времени». Романтическим флером окутаны и в других местах ее воспоминания: она действовала в эпоху, когда «мы не разучились еще верить и мечтать»; «ощущение опасности» есть источник «наслаждения» для нее; «с поэтическим вымыслом» граничили «причудливые планы» борьбы, создаваемые «богатой фантазией» Н. А. Морозова и т. п. Такова психология политической борьбы у Любатович, социальные корни которой, как мы видим, указаны самою Любатович.

С. Валк.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Свои «воспоминания» я начала писать в самую глухую пору русской жизни, когда трудно было рассчитывать, чтоб они появились в печати при моей жизни; поэтому я писала так, как пишут только для себя, как беседуют только с очень, очень близкими друзьями, без недомолвок, не умалчивая о фактах, не скрывая ни мыслей, ни чувств. Теперь по предложению журнала «Былое» [1] я отдаю эти строки в печать. Часть этой рукописи была написана в конце 1895 года, то-есть, десять лет назад; остальное я закончила уже теперь, в 1906 году *. Я пыталась было моим воспоминаниям придать более правильную, строгую форму, но увидала, что это значило бы лишить давно написанное всей свежести только-что пережитых впечатлений. Испытанных настроений не воссоздашь, раз они легли в известной форме на бумагу; изменить форму—значит стереть их,—потому я оставила написанное со всеми его недостатками, но и со всей искренностью, которая, надеюсь, искупит многое.

Воспоминания охватывают 1879—1881 годы, то-есть один из наиболее рельефных периодов русского революционного движения. Это далекое еще живет в недавнем и потому близко всем. Ошибки прошлого не менее поучительны, чем и положительные стороны его, а потому я старалась отмечать факты прошлого во всей их жизненной правде... Эти факты так переплелись с моей личной судьбой, что мне невольно пришлось говорить и о себе, но и в области личного я беру только то, что создает дальнейшие факты и действия...

---

* Окончание написанной рукописи попалось во время обыска у моего мужа И. С. Джабадари [2] в 1896 году и пропало.

ГЛАВА I

Смерть Сергея Кравчинского[3]. «Смерть русского преступника»—так озаглавлено коротенькое известие из английских газет, которое сегодня (29 декабря 1895 г.) невольно бросилось мне в глаза, когда я по привычке просматривала газету «Кавказ». Какое-то предчувствие сжало мне сердце, я нетерпеливо стала искать имя. Да, вот оно, переиначенное, но давно знакомое имя человека, бывшего когда-то одним из моих лучших друзей и память о котором остается и до сих пор одним из отраднейших воспоминаний далекой молодости. Степняк Крачковский,—так называет его газета,—Сергей Кравчинский, мой старый друг и брат, неужели это ты?.. Страшно, мучительно страшно верить, что какая-то слепая случайность порвала навсегда твои узы с землей, с этой неблагодарной землей, которая при всем просторе ее была для нас только тюрьмой.

Газета называет тебя преступником за то, что ты когда-то убил одного человека, забывая, что этот человек убивал медленной пыткой тысячи людей, из коих многие были твоими друзьями. Да, с христианской точки зрения убийство преступно, но оно одинаково преступно и для власть имущих. Убийство за убийство, смерть за смерть, — вот пока завет правящих. Но когда сердце человека, простого гражданина, не облеченного властью, возмущается цепью легальных убийств и мстит кровью за кровь, ему кричат: «преступник!». Вот эпитафия близорукой толпы над твоей безвременной могилой. Горе побежденному,—для толпы он всегда преступник. Но тебя, заклейменного этим именем самодовольной толпой, я знала как человека доброго, самоотверженного и прекрасного.

Одаренный необыкновенными способностями, горячей душой и пылкой фантазией, ты мог скорее, чем другие, в этой толпе занять крупное место, идя по торной дороге; но еще очень

молодым офицером ты с презрением сбросил мундир, забывая все его привилегии, о которых всегда хорошо помнят остальные — честолюбцы и политические интриганы. Не власти над людьми искал ты,—она перед тобой сама открывалась, — ты жаждал жертвоприношения, подвига, настоящего христианского подвига в защиту малых сих. В вопросах веры ты был теоретически скептиком, но вера бессознательно жила в твоей душе, управляла твоим чувством и жизнью. Не свое я поместил ты на алтарь низверженного божества, как это делают истинные скептики и неверующие, а человечество в его высшем, идеальнейшем представлении; этому божеству, этой мечте ты принес в жертву всего себя, все свои силы, всю свою жизнь. Ты не ждал награды ни в земной, ни в загробной жизни, ты жаждал лишь раздробить хоть одно звено тех цепей, которые сковывали и сковывают твое божество; а для себя ты мирился со всем, даже с цепями каторжника и эшафотом. В этом сказался целый забытый тобою, подлинный ряд предков, воспитанных в заветах Христа: вочеловечившееся божество, искупляющее страданием грехи мира,—вот тот идеал, которому бессознательно подражал ты, и если, подобно апостолу Петру, ты обнажил меч, когда «слуги мира» терзали твое божество, когда на твоих глазах вешали мужчин и в тюремных застенках подвергали позорным насилиям женщин, кто может бросить за это камень в тебя? Не за свои страдания, не за свои оскорбления мстил ты,—судьба спасала тебя от них,—но «за други своя»...

А каким хорошим, верным другом был ты, это я испытала сама. Никогда не изгладится из моей памяти наша первая встреча. Это было в первых числах августа того приснопамятного 1878 года, когда громы плевненских пушек заглушил вдруг один слабый звук выстрела Веры Засулич [4], и с кровью наших солдат, сложивших головы на Балканах, с кровью первых политических казней на юге (казнь Ковальского [5]) смешалась кровь главы домашних опричников, кровь генерала Мезенцова [6].

Я тогда только-что вырвалась из сибирского плена,—бежала из ссылки куда глаза глядят, лишь бы избавиться от позорной неволи, где я,—в то время молодая девушка,—очутилась вдруг одна-одинешенька в положении бесправной рабыни. Как я добралась до Петербурга в такое смутное время, мне и самой кажется невероятным; помню только, что, ступив свободной ногой на камни петербургской мостовой, я впервые задала себе вопрос: куда же я денусь? В кармане у меня оставалось всего-на-всего несколько копеек, и в руках никакого багажа и ни одного адреса, куда я могла бы зайти. Так стояла я в раздумьи на дебаркадере железной дороги и совершенно не замечала, что на вокзале и на улицах происходило какое-то необыкновенное движение.

Толпа как-то глухо волновалась. «Убит, наповал убит», донеслось до меня... Я подняла голову и в недоумении оглянулась. В это время ко мне приблизилась какая-то пожилая женщина, одетая по-мещански, и, засматривая мне в лицо, слащавым голосом стала спрашивать, где я думаю остановиться и есть ли у меня родные. Я отвечала, что родных у меня нет и я не знаю еще, где остановлюсь, потому что не знаю города. Женщина не раз оглядывала меня и вкрадчиво предложила остановиться у нее в номерах: номера, де, дешевые и хорошие.

Взгляд и обращение этой женщины мне не понравились, но я так была бесприютна, что с радостью согласилась на ее предложение, видя в нем спасение, быть может, посланное мне судьбой.

Дорогой, беседуя о том, как нынче трудно жить в столице, она сообщила мне между прочим, что сегодня утром какой-то злоумышленник убил шефа жандармов. Я вздрогнула: это еще больше осложнило мое положение,—ища убийцу, могут случайно поймать и меня.

Итак, я очутилась в Петербурге 4 августа, как-раз в день убийства Мезенцова... Найду ли я кого-нибудь из своих бывших товарищей,—вот вопрос, который поглощал в то время все мое существо. Хозяйка тем временем ввела меня в грязный полутемный номер и подала самовар, а на последние пять копеек я купила хлеба. Чаю у меня не было, и, запив хлеб горячей водой, я вышла бродить по Петербургу.

Целых три дня бродила я по этому действительно незнакомому мне в то время городу и все безуспешно; хлеб мой давно уже вышел, и я буквально голодала, еле волоча ноги.

Хозяйка была слишком опытна и сразу заметила мое положение, но продолжала быть любезной; сама даже заварила раза два чай и принесла булку; но только я успела утолить голод, как ко мне зашел коридорный и довольно нахально предложил мне познакомиться с какими-то молодыми людьми, проживающими там же в номерах. Я в первую минуту остолбенела, до того я была далека от мысли, что я—женщина, что мною могут интересоваться, как молодой девушкой; я помнила в себе только бесприютного беглеца и больше ничего.

Придя в себя, я кое-как выпроводила коридорного и, накинув поспешно платок на голову, выбежала на улицу. На этот раз счастье улыбнулось мне, я застала наконец дома приехавшего с дачи присяжного поверенного Бардовского, с которым, я знала, была знакома Вера Фигнер [7] (Филиппова), старый товарищ мне по студенческому кружку в Цюрихе и сестра осужденной вместе со мной по процессу 50-ти [8] Лидии Фигнер [9]. Дей-

ствительно, Бардовский знал Веру Фигнер, но она жила в то время в Самаре; здесь же в Петербурге он указал мне на Софию Лешерн[10], освобожденную по процессу 193-х[11] и жившую в городе (в 1879 году С. Лешерн была арестована в Киеве вместе с В. Осинским[12] и осуждена к смертной казни, но затем помилована и сослана на Кару на вечную каторгу, где и умерла после одной из тюремных голодовок).

Присяжный поверенный Бардовский. Добрый, порывистый и симпатичный, Бардовский хоть и не знал меня совсем и только в качестве защитника Субботиных[13] видел меня на процессе, тем не менее он сейчас же предложил мне свое гостеприимство, но я, сердечно поблагодарив его, отказалась, чувствуя какую-то нравственную щепетильность подвергать опасности человека, хотя и выказавшего на суде замечательную сердечность и симпатию к нам. Так, я помню, во время защитительной речи он до того взволновался, что суд должен был прервать на несколько минут заседание, чтобы дать ему успокоиться; это воспоминание и направило меня безотчетно к нему, но воспользоваться его гостеприимством я не решилась. Эта моя осторожность его однако не спасла,—25 июля 1879 г. он был арестован и очень скоро впал в душевную болезнь. Арест слишком потряс его, потому что, вероятно, был для него совсем неожидан. Его обвиняли в укрывательстве меня. Это был ложный донос, основанный, вероятно, на неосторожном рассказе его где-нибудь о моем посещении. Это воспоминание о гибели человека прекрасного и доброго, но постороннего революционному движению, всегда лежало тяжелым камнем у меня на сердце. Но в ту минуту я не могла предвидеть такую трагическую развязку,—иначе мне не мила бы стала моя свобода...

Софья Лешерн. Получивши от Бардовского адрес Софьи Лешерн, я чувствовала себя спасенной, хотя лично ее никогда до тех пор не знала, но нас сроднили общие невзгоды и тюрьма. Как на крыльях полетела я к ней, и застала ее дома. Она приняла меня сердечно, будто давно жданную сестру, посоветовала мне сейчас же выбраться из моих меблированных комнат и предложила временный приют у себя. Приют этот была скромная комнатка Александры Малиновской, молодой девушки художницы, гостившей в то время где-то на даче и временно передавшей ключ от своего жилища Софье Лешерн.

Здесь, в этой комнатке близ Забалканского проспекта в Измайловском полку, в тот же вечер собралось человек 15 совсем еще незнакомого мне народа, но которых влекла туда общность борьбы, надежд и страданья. Как мало из них осталось теперь в живых!..

Сергей Кравчинский в Петербурге. Тут-то впервые я встретила моего названого брата — Сергея Кравчинского... Несмотря на крайнюю опасность, с которой сопряжено было каждое появление его на улице, он пришел приветствовать меня в этот первый день моей свободы; быть может, он бессознательно был суеверен, как многие стоявшие лицом к лицу со смертью, и мое появление в Петербурге в день 4 августа, этот первый в то время побег из Сибири—казались ему счастливым предзнаменованием близкой свободы для всех... Да, мы были в то время еще молоды, мы не разучились еще верить и мечтать...

Было уже несколько человек в сборе, когда он вошел в комнату. Его крупная мужественная фигура и оригинальная голова невольно привлекла мое внимание; он был одет джентльменом, в руках держал высокий цилиндр, а наполеоновская бородка придавала ему вид иностранца. В комнате, кроме меня, еще были две-три женщины, но он прямо подошел ко мне и свободным товарищеским жестом протянул мне руку.

— Я знаю вас заочно,—сказал он мне,—быть-может, и вы слыхали также обо мне,—и он назвал себя.

— Да,—отвечала я и подумала: как же не слыхать имени одного из первых пионеров «хождения в народ», слывшего как крупный оратор и талантливый человек.

Он был старше меня и по возрасту, и по деятельности в народе, и я смотрела на него, как на старшего товарища. Несмотря на то, что в молодости я была крайне застенчива и очень трудно сближалась с людьми, между нами как-то сразу завязалась свободная, простая, искренняя беседа, сразу сделавшая нас друзьями.

Беседуя с ним, я свободно всматривалась в его открытое, смелое, оригинальное лицо, неправильные ломаные линии которого словно красили его своим уродством. Да, он был и красавец, и урод. Мягкие, коротко подстриженные темно - русые волосы крупными волнами обрамляли его необычно большую голову и большой, прекрасный открытый лоб необыкновенной белизны; широкие, короткие, темные брови разделены были двумя глубокими вертикальными складками над переносьем, придававшими лицу вид решимости и энергии. Крупный рот с сочными свежими губами порой раскрывался в широкую добрую улыбку, порой передергивался какой-то меланхолически-нервной гримасой; карие глаза его то загорались огнем, то смотрели с какой-то рассеянной задумчивостью; он словно уходил в себя и ничего не видел вокруг. Вообще в этом на вид здоровом, могучем, порой почти шумно веселом человеке при внимательном

наблюдении можно было подметить симптомы пережитого когда-то раньше глубокого нервного потрясения, внешние следы которого только лишь сглаживались силою сдержанности, но не исчезали вполне.

Валерьян Осинский. Наш оживленный разговор мало-по-малу привлек еще некоторых. Всех ярче врезалась в моей памяти фигура Валерьяна Осинского. Высокий, стройный блондин с благородными правильными чертами лица, с красивыми глазами, вспыхивающими иногда энтузиазмом молодости, он напоминал молодого офицера, еще не бывшего в серьезном огне, но мечтающего о крупном бое. Впрочем, он не был уже новичком и побывал если не в бою, то в серьезных рекогносцировках. Как истинный рыцарь, или, лучше сказать, как большая часть наших революционеров 70-х годов, он начал свою деятельность с преклонения перед страданием. Первый шаг, познакомивший его, впрочем не надолго, с тюрьмой, была попытка проникнуть в залу суда во время нашего процесса 50-ти, где он жаждал увидеть, главным образом, как он сознался мне, нас, «московских амазонок», выросших в барских хоромах, вкусивших всех прелестей свободного умственного труда в европейских университетах и затем, с такой отважной простотой, перешагнувших порог грязного вертепа московских фабрик, как простые работницы.

В ту минуту, когда подошел к нам Осинский, мы говорили с С. Кравчинским о биографии безвременно покончившей с жизнью Бети Каминской [14], биографии, незадолго перед тем напечатанной в заграничном журнале «Община» [15] и написанной в тюрьме совместно мною и Бардиной [16]. Кравчинский спрашивал меня, работавшую на одной фабрике с Каминской, действительно ли те несколько мрачные впечатления, которые сквозят в описании ее пребывания на фабрике, суть впечатления, окрашенные индивидуальностью Каминской, или же они у меня общие с нею. Я отвечала утвердительно, и у нас зашел горячий спор о народе. Кравчинский, несмотря на свой прошлый опыт пропаганды в народе, опыт, столь же сравнительно малопродуктивный, как и все бывшие до и после него, опыт, кончившийся арестом в деревне и спасением бегством, остался всетаки большим энтузиастом и верил, что придет время, и быть может скоро придет, когда русский народ поймет нас и станет грудью за свою свободу, а мы должны расчистить для него путь борьбою с правительством, не оставляя однако дела пропаганды.

— Вы,—сказал мне Кравчинский,—говорите, что увлечь за нами массу трудно, что она в течение всей своей истории от-

ступала, избегая внутренней борьбы, бежала в горные степи, в сибирскую тайгу. А что вы скажете о Чигиринском деле?[17]

О Чигиринском деле?—Я о нем ничего не знала; оно произошло в мою бытность в Сибири, и Кравчинский с увлечением рассказал мне попытку Стефановича[18] и Дейча[19], выдав себя за царского комиссара, организовать восстание в Чигирине. Это самозванство не понравилось мне; оно было опасно тем, что как бы еще более усиливало легенду о «царе-заступнике», хотя практически оно скорее могло привести к результату, то-есть к восстанию против властей, чем наша искренняя открытая пропаганда. Все они чувствовали однако, как и я, что с идеалом peuple souverain, с идеалом могучего и гордого народа, сознающего свое право и опирающегося на свою только силу, волей-неволей нужно пока проститься; и как бы для того, чтобы развеять грусть, набежавшую на наши лица, за минуту оживленные спором, Осинский стал с увлечением рассказывать историю побега Стефановича и Дейча из киевской тюрьмы, побега, в котором, как я узнала потом, он принимал очень деятельное участие.

Александр Михайлов. Затем разговор мало-по-малу сделался общим; от Чигиринского дела перешли к рассказу о попытках сближения с народом на почве легально-культурной, попытках, лишенных уже всякого следа революционной поэзии, попытках с простым занятием той или другой профессией, а Александр Михайлов[20], носивший прозвище «Дворника», поведал нам подробности своего оригинального хождения к сектантам, где он целый год принужден был выдерживать искус строгого поста и молитв по листовкам в надежде приобрести доверие к себе. Он не рекомендовал этот путь; слишком много компромиссов с совестью приходится делать, но эти компромиссы никогда не в силах сыграть роль истинной веры.

Вечер закончился подробным рассказом события 4 августа. День моей встречи с Кравчинским был днем похорон Мезенцова. Я рассказала, как, идя к Бардовскому, жившему на углу Гагаринской, я встретила похоронный кортеж и чуть не была увлечена потоком толпы в ряды его провожавших. Мне не говорили еще в то время, кто нанес Мезенцову смертельный удар; мне врезалось только в память, с какой особой настойчивостью Кравчинский старался остановить мое внимание на том, что убийца встретил врага лицом к лицу, один против двух, и нанес удар спереди, а не сзади.

Адриан Михайлов. Тут же припоминаю небольшую, но коренастую фигуру Адриана Михайлова[21], оживившегося, когда речь зашла о Мезенцове и, не говоря о своем участии в деле,

любовно описавшего «Варвара», того полумифического коня, который два года тому назад вынес из-под пуль часовых [22] бежавшего Кропоткина [23], а теперь спас своим легким бегом мезенцовского мстителя.

Так, переходя от события к событию, от воспоминания к воспоминанию, мы засиделись далеко за полночь, и если бы кто-нибудь из мирных петербуржцев заглянул случайно в эту комнату, тесно набитую народом, то, судя по внешности, он никак не подумал бы, что перед ним кучка самых крупных заговорщиков,—так мало в наряде, в их жестах, в их сдержанных речах, так мало было в них той шаблонной распущенности и резкости, которую привыкли у нас называть нигилизмом [24], царившим, правда, в студенческих кругах 60-х годов, но совершенно исчезнувшим в 70-х, по крайней мере в крупных центрах, и тем более в кругу серьезных революционеров.

Столь же мало было в них общего и с типом Базарова, по поводу которого Тургенев [25] впервые создал термин *«нигилист»*, термин, опошленный потом толпой. Нет, не дети и не братья Базарова сошлись здесь на беседу, не братья того Базарова, который презирал народ уже со студенческой скамьи, потому что привык трезво смотреть на него еще с колыбели, нет, а скорей дети Кирсановых, выросшие в атмосфере мечтательного идеализма, дети Кирсановых, получившие, впрочем, откуда-то приток свежей молодой крови, быть-может, крови какой-нибудь Фенички...

Здесь не было ни одного, который, подобно Базарову, поклонялся бы культу своего я; нет, они искали высшей нравственной санкции «прав человека» в народе и, не найдя ее в реальном русском человеке, в этом скопище, именуемом народом, они обнажили меч, мстя за искажение человеческой природы в лице народа-раба, выдвигавшего, правда, время-от-времени могучие фигуры, но в целом спавшего тяжелым летаргическим сном. Идеализация вначале и оскорбленное чувство потом—вот вся психология «героического» периода нашей революционной истории.

Николай Морозов. Во второй половине 1878 г. было еще не мало энтузиастов, как, например, Осинский и Морозов [26], которые если не верили уже в наше немедленное единение с народом, то, по крайней мере, считали возможным путем дезорганизации правительства партизанской террористической борьбой снять тяжелую гирю с чашки весов, препятствующую народу сделать свободный выбор между нами и властью. Об Осинском я уже говорила, с Морозовым же я познакомилась несколько дней спустя. Он только-что приехал тогда из провинции, где

он оставался некоторое время после освобождения по процессу 193-х. Морозова привел к нам Сергей Кравчинский, с которым я за это время успела еще более сблизиться и который отрекомендовал его мне, как своего старого товарища по кружку (Чайковского[27]) и лучшего друга. У нас, то-есть у С. Лешерн и у меня, опять собралось в тот день несколько человек; был Сабуров[28], Ольга Натансон[29], Коленкина[30] (ближайший друг Веры Засулич) и некоторые из бывших раньше.

Сабуров (Оболешев), среднего роста, лет тридцати, с довольно большой темно-русой бородой и карими глазами, был мало разговорчив и производил впечатление серьезного, деловитого чиновника. Я так и не успела близко узнать его, потому что месяца два спустя он был арестован одновременно с О. Натансон, Булановым и другими. Он никогда не вдавался в теоретические разговоры или воспоминания прошлого, но у него особо заметного прошлого, кажется, и не было в то время; его настоящая фамилия еще ни разу не попадала раньше на глаза полиции,—вот почему, несмотря на все усилия, правительство так и вынуждено было осудить его под фиктивным именем Сабурова. Но из рассказов О. Натансон, с которой я жила некоторое время перед ее арестом на одной квартире (в 4-й роте Измайловского полка), я узнала, что он был очень деятельным человеком в качестве члена организации «Земля и Воля»[31].

Организация «Земли и Воли». Нужно заметить, что все поименованные мною лица были уже или сделались вскоре членами названной организации (Коленкина и Малиновская, например. перед самым арестом их) *. Организация эта явилась естественной группировкой сил, уцелевших после процессов 50-ти, 193-х и других, мелких; она образовалась не сразу; начало ее относится к зиме 1876—1877 гг., то-есть к тому времени, когда молодежь зачитывалась программой революционной деятельности и судебным отчетом процесса 50-ти, или, как тогда называли, «московского процесса», по месту главного действия (московские фабрики), а не по месту разбора дела (процесс 50-ти разбирался в особом присутствии Сената в Петербурге с 21 февраля по 14 марта 1877 года).

Впрочем, еще раньше, в 1876 г., следовательно до начала заметного подъема революционного духа, сказавшегося в 1877 году, образовалась небольшая «группа», носившая в общем революционном кругу прозвище «троглодитов», за их часто

* Я вошла в эту организацию также незадолго до моего отъезда за границу.

аффектированную конспиративность, благодаря которой даже лица вполне легальные проживали по подложным паспортам, скрывая свои жилища даже от ближайших товарищей. Правда, из этой компании и до сих пор остался нетронутым с десяток людей, но не благодаря приемам троглодитов, прятавшихся в пещерах, а благодаря способу деятельности в народе, принятому ими; большая часть их, получившая скоро название деревенщиков, расселилась в провинции, занимая места фельдшеров, волостных писарей, акушерок, артельных мастеровых и т. п., сближаясь с народом на почве культурно-профессиональной; эта деятельность могла иметь и имела лишь самое косвенное отношение к подготовлявшейся борьбе с правительством на жизнь и смерть. Предчувствие этой борьбы сказалось уже не только в напечатанной в то время программе революционной деятельности процесса 50-ти, но и в первом в революционной истории протестующем выстреле Цицианова [32], стрелявшего в 1875 году при аресте в своих насильников, жандармов, и осужденного на каторгу в 1877 г. по процессу 50-ти (князь Цицианов, после многолетнего одиночного заключения в центральной харьковской тюрьме и затем на Каре, погиб от тяжелой душевной болезни в Сибири) [33].

Дальнейшим, еще более мощным провозвестником этой борьбы явился выстрел Веры Засулич, вызванный позорным насилием над Боголюбовым [34]. В названном обществе троглодитов Вера Засулич не принимала в то время никакого участия; она совершила свое историческое дело помимо помощи и даже ведома его, опираясь лишь на дружескую поддержку Коленкиной.

Вообще, после неудачной демонстрации 6 декабря 1876 года, или, как ее называют, казанской демонстрации [35], происшедшей, как говорили, по инициативе этого кружка, и главным действующим лицом которой был Плеханов [36], благополучно избежавший ареста, несмотря на произнесенную им речь на площади, в то время как многие из молодежи, пришедшие просто на панихиду (по Чернышевском [37]) и ничего не знавшие о замыслах этого кружка, поплатились долголетней каторгой и ссылкой, одним словом, после казанской демонстрации кружок этот с нечаевскими [38] традициями потерял на время престиж в революционном мире, и лишь обновленный во второй половине 1878 года путем сближения с южанами, с одной стороны, и освободившимися членами других старых кружков, или уцелевшими после двух названных больших процессов (50-ти и 193-х), только после обновления этими новыми, более опытными членами, организация «Земля и Воля» получила серьезное значение и, несмотря на крупные осенние (1878 г.) аресты, смогла даже приступить

к изданию своего литературного органа—газеты «Земля и Воля». Но этот наплыв новых крупных элементов вскоре совсем изменил окраску кружка троглодитов.

Уже с начала 1878 года в революционном кругу стало употребляться имя «Исполнительный Комитет» [39] на листках, помеченных печатью, изображавшей топор, кинжал и револьвер; эти листки, выпускавшиеся, по словам Осинского, южанами и употреблявшиеся в качестве предупреждения, посылаемого жертвам готовящегося мщения, я видела осенью 1878 г. в руках Сергея Кравчинского, и на мой вопрос, действительно ли существует этот Исполнительный Комитет, или это только внешний знак, он мне ответил:

— Как сказать, он существует и нет. Это не есть нечто неподвижное, сформированное; но он всегда существует, когда какой-нибудь факт призывает революционеров к мщению.

Самым ревностным проповедником идеи партизанской революционной борьбы был однако не С. Кравчинский, как можно было предполагать, а Осинский и Морозов. Хотя я и говорила уже об Осинском, но я не могу еще не отметить здесь маленькой подробности.

Приблизительно через три, четыре дня после моей первой встречи с ним, вдруг он вбегает к нам (в квартиру Малиновской) и, ни слова не говоря, показывает газету.

— Что такое? — изумленно спрашиваем мы (я и, как помнится. М. Коленкина).

— А вот что!—сказал он, и так, как был, не раздеваясь, в пальто и шапке, читает нам правительственное распоряжение о предании отныне военному суду всех обвиняемых в государственных преступлениях.

Окончив чтение, он как бы совершенно забывает о нашем присутствии и долго стоит в глубокой задумчивости, наклонясь над газетой и расправляя ее рукой на столе. Что проносилось в ту минуту в его воображении? Быть-может, ему рисовалась мрачная картина казни, как смутное предчувствие рока... И действительно, он первый пал жертвой этого нового закона. Вскоре он уехал на юг и весной 1879 года, после оказанного сопротивления, был арестован и затем казнен...

Николай Морозов. Морозова, другого яркого приверженца террористической борьбы, я узнала позже. Это был молодой человек лет 23—24, выше среднего роста, с задумчивыми большими глазами и очень нежными миниатюрными чертами лица. На его худой, тонкой фигуре лежал отпечаток телесной недоразвитости, как-будто тюрьма, в которой он провел более трех лет в пору ранней молодости, помешала достичь здо-

ровой возмужалости. Слабый, высокого тембра, голос его еще усиливал иллюзию молодого деревца, выросшего вдали от свежего воздуха и простора полей. Сын крупного ярославского помещика, Николай Морозов провел уединенное детство в деревне и рано был отдан в одну из московских гимназий; там семья товарищей стала скоро его единственной семьей. Но и здесь, в стенах учебного заведения, его не покидала любовь к природе, и часто летом, в дни досуга, он совершал далекие прогулки, знакомясь с флорой и геологическими особенностями окрестностей Москвы. Прогулки эти не только дали материал для нескольких юношеских естественно-научных исследований, представленных им в Московский университет, но способствовали также развитию в нем поэтической созерцательности, проявившейся рано в ряде юношеских стихотворений.

Настроения, переживаемые в то время учащейся молодежью, мало гармонировали с его созерцательной натурой, но товарищеское чувство и пылкая, отзывчивая душа влекли его к борьбе. Он отверг без оглядки те привилегии, за которые так цепляются люди ничтожные, и бросил гимназию перед самым получением диплома, чтобы уйти с головой в волны назревавшего в то время движения. Облекшись в сермягу и лапти, он исколесил почти всю Великороссию, беседуя с народом и раздавая революционные книжки. Юношеская неопытность и увлекающаяся натура заставили его забыть все предосторожности, и как-то раз в одной деревне он был схвачен и выдан властям самими крестьянами. Узнав об его аресте, отец отрекся от него, посторонним же всякий доступ в тюрьму был воспрещен, и вот, брошенный и забытый всеми, томился он долгие годы, пока наконец суд не отпустил его из тюрьмы под надзор полиции.

В тюрьме, болея от тоски и лишений, он по целым месяцам бывал прикован к больничной койке и тут, лежа в полумраке арестантского лазарета, слагал он свои грустные стихи, ставшие впоследствии одним из любимых напевов тюремной лирики. Стихотворения Морозова, вместе с стихотворениями Саблина [40], Синегуба [41] и некоторых других, вышли впоследствии в особом нелегальном сборнике под названием «Из-за решетки» и остались ныне единственным почти литературным памятником психологии революционного движения того времени.

Сколько дум, сколько чувств пережито было в тиши одиночного каземата. Кто после этого может удивляться, если, оплакивая кровавыми слезами исчезнувшую иллюзию народной революции, он стал обоготворять партизанскую борьбу с правительством—террор!.. Да, он был апостолом террора, проповедником вооруженной борьбы с правительством один на один.

Его богатая фантазия создавала самые причудливые планы этой борьбы, планы, граничившие иногда с поэтическим вымыслом. Сам он, худой, тоненький и слабый, ходил в то время весь обвешанный оружием, и можно только удивляться, как какая-нибудь пустая случайность не сгубила его; но судьба хранила его до времени, несмотря на то, что он не раз нарывался нечаянно на обыск или попадал на квартиру, где только-что произошли аресты и оставлена была здесь засада; быть-может, самообладание и открытая простота его наружности и речи спасали его.

В тот вечер, как я впервые встретила Морозова, он был по обыкновению обвешан оружием, под тяжестью которого почти сгибался. Он пришел к нам вместе с С. Кравчинским, который отрекомендовал его «нашим молодым поэтом», — рекомендация, от которой Морозов зарделся, как девушка. В первые минуты встречи он сидел молча, обводя присутствующих своими задумчивыми глазами. Он показался мне очень юным, и я невольно обращалась с ним почти покровительственно; как ни странно, но это сблизило нас; мало-по-малу он разговорился и своим мягким полудетским голоском стал делиться со мною впечатлениями деревни и тюрьмы. Это была общая, родная нам тема, и мы не заметили, как сблизились.

Сближению нашему содействовало и то, что как Кравчинский, так и Морозов заведывали редакцией «Земли и Воли», и в моем лице им хотелось, кажется, привлечь к этому делу и женский элемент; нам много приходилось поэтому беседовать на теоретические темы. Программа начинавшегося издания не была еще теоретически оформлена; она не представляла чего-нибудь устойчивого, а отпечатлевала в себе всю непосредственность живых впечатлений и темпераментов; в этом заключалось и ее достоинство, и недостаток. Но мне недолго приходилось принимать участие в редакционных беседах, происходивших в то время на квартире Кравчинского, где он, помню, читал в рукописи мне и Морозову свою передовую статью для «Земли и Воли», статью, где, подчеркивая превращение идеалиста-народника в террориста, он первого неудачно сравнивает с барашком, мирно пасущимся на лугу. Это сентиментальное сравнение было потом им выброшено вследствие нашего дружеского протеста, как если и верное по мысли, то неудачное по форме.

Едва успел выйти первый номер, как Кравчинский, а затем и я должны были выехать за границу, так как и его, и меня, — хотя по разным причинам, — полиция усиленно разыскивала. На смену Кравчинскому уже после нас приехал Лев Тихомиров [42], вызванный по письму Перовской [43], и дальнейшие номера

«Земли и Воли» велись уже только Морозовым, Плехановым, Тихомировым и Клеменцом [44] при участии некоторых посторонних и к революционному движению почти непричастных лиц.

Георгий Плеханов. По отъезде С. Кравчинского как в кругу литературном, так и вообще в кругу действовавших в Петербурге землевольцев начал вскоре сказываться раскол; представителями двух крайних полюсов явились Морозов с одной стороны и Плеханов — с другой; Тихомиров представлял собой центр. Плеханова я почти не знала, я видела его раз или два мельком; один раз, помню отчетливо, это было на многолюдном собрании землевольцев незадолго перед моим отъездом; там же я впервые видела Трощанского [45], вскоре затем арестованного. Плеханов не появлялся ни разу у Малиновской все время, пока я там жила; я не встречала его также и в доме Сивкова, куда потом перебралась она вместе с Коленкиной, и где я некоторое время жила с ними; его не видела я также и в квартире Ольги Натансон, где жила я перед отъездом за границу. Быть может, его и не было в то время в Петербурге, а может и по другим причинам.

Дмитрий Клеменц. Заговорив о землевольцах, я не могу умолчать о Клеменце, вернувшемся осенью 1878 года из-за границы и принявшем участие в газете «Земля и Воля». Это был, подобно Морозову, старый и близкий друг Кравчинского. Обладая юмористическим складом ума, он был замечательно интересным собеседником и прекрасным рассказчиком; народной речью он владел в совершенстве, и подчас можно было заслушаться его беседы; его перу принадлежат, на ряду с Саблиным, лучшие юмористические и народнические стихотворения в революционной литературе. Это был человек, по принципу отвергавший организационные узы, сковывающие индивидуальность, и, несмотря на то, что по приезде он сблизился с «Землей и Волей», это не мешало ему саркастически отзываться об этой организации, и, насколько помнится, кличку «троглодитов» я впервые услышал от него; кажется, он и был ее творцом.

К сожалению, очень скоро, уже в январе 1879 г., революционная семья потеряла его, он был арестован и административно сослан в Сибирь.

Итак, с отъездом Кравчинского в «Земле и Воле» начали возникать споры и недоразумения, все более и более обострявшие отношения. Особенно крупным яблоком раздора послужил вопрос о цареубийстве, поднятый обращением Соловьева [46] к некоторым более красно настроенным членам «Земли и Воли». Плеханов резко восстал против намерения Соловьева и заявил об этом товарищам. Тем не менее, Соловьев, лишенный почти вся-

кого содействия, исполнил свое намерение и поплатился за это головой [47].

Не один Плеханов был противником цареубийства; многие революционеры-народники разделяли его взгляд, находя вообще, что каждый террористический акт, затрудняя деятельность в народе, ничего, кроме вреда, не приносит партии. Так смотрели главным образом те, которые заняты были в то время попытками революционизировать народ посредством сближения с ним на культурной почве, то-есть, иначе говоря, большинство старых членов «Земли и Воли» — деревенщики, вошедшие в нее еще в 1876—1877 гг. Удаленные от революционного центра расстоянием и трудностью сообщения, они не могли следить за эволюцией общего революционного чувства, а наплыв новых элементов, которым они гостеприимно отворили двери своей организации, элементов, уже ранее имевших опыт пропаганды в народе и вынесших из нее отрицательные впечатления, наплыв этих элементов послужил своего рода ферментом, подготовившим будущий раскол [48] организации «Земля и Воля» [49], разделившейся, год спустя, на «Черный Передел» и «Народную Волю».

Софья Перовская. Как трудно было революционерам-пропагандистам 70-х годов отрешаться от привычных надежд, взлелеянных на почве идеализации народа, как трудно было им перейти к одинокой титанической борьбе с властью, отрывавшей их от народа, лучшим примером может служить Софья Перовская.

Когда я встретила ее впервые в 1878 году, она была ярая народница. Я никогда не забуду этой первой встречи. Однажды, недели через две после моего приезда в Петербург, часов в 12 дня в квартиру Малиновской вошла какая-то очень скромно одетая девушка; ее маленькое круглое личико с большим лбом ребенка невольно поражало взгляд, рельефно выделяясь на фоне простого черного платья, окаймленного широким белым отложным воротничком. Оно дышало молодостью и жизнью. Это была Софья Перовская. Она назвала себя и с открытой простотой давнего знакомства поздоровалась с нами, хотя я и бывшая там Коленкина знали ее раньше только заочно.

Она была видимо чем-то приятно взволнована; мы обступили ее, и, вся запыхавшаяся от быстрой ходьбы, она рассказала нам, как сегодня ночью на вокзале в Новгороде ей удалось бежать, перешагнув через своих спящих конвойных; выждав в придорожных зарослях прихода петербургского поезда, она вскочила в него без билета и утром была уже у одной старой подруги, откуда ее и направили к нам. При всей простоте этого рассказа меня охватила невольная дрожь, когда она описывала, как, заду-

мав бежать и лежа укрытая на диване в дамской, она следила за жандармами, расположившимися у порога на ночь; как вначале при каждом звонке или шуме проходящего поезда жандармы вздрагивали и тревожно оглядывали ее, но, убедившись, наконец, что она крепко спит, и сами заснули спокойным сном; мало-по-малу звонки и шум поезда перестали будить их, и они больше не просыпались. Тогда она тихо, тихо встала, расположила свою одежду на диване так, как-будто она продолжала прикрывать ее спящую фигуру, а сама, накинув платок на голову, сняв обувь, легкая как тень, перешагнула через спящую стражу и никем не замеченная вышла на платформу, перебралась через пути и спряталась в прилегавших кустах, ожидая поезда. Ей пришлось ждать целый час и какой час! Каждая минута его равнялась целому году: малейший шорох, лай ночной собаки, шелест листьев — все заставляло трепетать... Но вот давно жданный поезд медленно вырисовался вдали и, наконец, встал перед нею, — она была спасена. Теперь, забыв все муки пережитого томления, она, радостная и свободная, дышала полной грудью в кругу родных ей по духу товарищей.

Весть о бегстве Перовской быстро разнеслась по Петербургу; через несколько часов к нам, то-есть в квартиру Малиновской, куда с утра приходила Коленкина и где ночевала я, пришел Кравчинский. Старый товарищ Перовской по кружку Чайковского, он спешил сюда видеть ее. В отношении Кравчинского к этой девушке-полуребенку — такой она казалась с виду—сказывалось столько глубокого уважения и какого-то как бы сдерживаемого поклонения, не нарушавшего однако товарищеского тона их отношений, что невольно останавливало на себе внимание.

— Это замечательная женщина,—говорил он мне потом,— ей суждено совершить что-нибудь очень крупное.

Во время этой встречи их разговор сосредоточился на вестях о центральной каторжной харьковской тюрьме. Кравчинский принес с собою и показал Перовской вышедшую вскоре после убийства Мезенцова брошюру «Заживо погребенные», составленную под редакцией Кравчинского по данным, присланным заключенными из харьковской центральной тюрьмы. *

В этой брошюре с убийственной реальностью описывались унижения и страдания, переживаемые заключенными, и я видела, как отуманилось лицо Перовской, за минуту такое радостное, когда Сергей стал перечитывать нам некоторые страницы.

---

* Эта брошюра была написана Долгушиным [50]; может быть, при печатании она и подверглась редактированию членов редакции «Земли и Воли».

В харьковской центральной тюрьме сидел в то время Мышкин[51], сын народа и мощный революционный оратор, к которому она относилась почти с поклонением; там были и другие ее товарищи по процессу 193-х; там сидели также и осужденные по процессу 50-ти, самому суровому по числу приговоренных в то время на каторгу. Это чтение волновало нас всех. Перовская уже раньше живала в Харькове, освобожденная по процессу 193-х, и теперь она опять рвалась туда, ближе к этим страдальцам, в надежде устроить им побег или хотя бы поддерживать с ними сношения.

Указания Кравчинского на то, что страдания эти не остались безнаказанными, что Мезенцов искупил их собственной смертью, не утешили ее. Она решила сейчас же ехать в Харьков, несмотря на просьбы некоторых друзей не спешить и пожить еще в Петербурге, потому что побег из центральной харьковской тюрьмы — дело почти невозможное. Но Перовская еще вся была проникнута верой в возможность помочь им.

Уступая просьбе товарищей, она прожила однако в Петербурге еще несколько дней, помогая сближению своих старых товарищей с организацией «Земля и Воля»; так, она старалась сблизить с нею Зубка[52], пригласив его как-то на квартиру Малиновской, но тот ехал в Сибирь к своей невесте и не остался; она написала также Льву Тихомирову, жившему в то время вдали от революционных дел в Ставрополе у родных. Тихомиров отозвался на ее призыв, поддержанный другими товарищами, и впоследствии, по отъезде Кравчинского, занял его место в редакции «Земли и Воли».

Устроив самые необходимые дела, Перовская собралась ехать. Кравчинский, чтоб чем-нибудь ознаменовать прощание с ней, вздумал собрать нас всех, более близких, на оперном представлении и взял литерную ложу. Давали «Пророка»[53] Мейербера — оперу, очень любимую в революционном кругу. Вообще революционеры в театры обыкновенно не ходили, но Сергею Кравчинскому всегда как-то нравилось пытать судьбу. Так, зная, как усиленно искали тогда меня, он любил, бывало, пройтись со мною под руку по самым людным улицам Петербурга и потом весело потирал руки, как после удачной рекогносцировки. Тогда в Петербурге, несмотря на облавы домов, арестов в организации еще не было, и все поддались его отважной фантазии.

Нас было в ложе человек 11, все народ очень нелегальный: тут были Адр. Михайлов, Морозов, Кравчинский, Перовская, Коленкина, Баранников[54], я, Оболешев, Ольга Натансон и еще кто-то. Мы собрались туда небольшими группами и просидели

весь вечер под обаянием музыки, наслаждаясь ощущением опасности, которая имеет обыкновенно такую неизъяснимую прелесть в молодости. В антрактах мы шутили и смеялись на эту тему и говорили, сколько бы дало правительство за удовольствие захватить сразу все гнездо «злоумышленников», но правительство меньше всего, конечно, могло искать нас здесь. Тем не менее, опасность висела уже над многими головами.

Но на этот раз судьба еще хранила Перовскую; на другой день она уехала в Харьков и вернулась в Петербург только через год, в конце лета 1879 года, когда узнала, что организации «З. и В.» грозит раскол и что революционное народничество грозит исчезнуть, как практическая задача минуты. Но об этом после.

Вскоре по отъезде Перовской в Петербурге произошли массовые аресты среди членов организации. Арестованы были Адр. Михайлов, Сабуров (Оболешев), Коленкина, Ольга Натансон, Малиновская и другие, и только благодаря счастливой случайности многим удалось спастись. Так, Морозов едва не попал в западню, устроенную полицией в квартире Буланова; к счастью, были сумерки, и, когда на его звонок вышел городовой, он успел скрыться за выступом стены. На квартире Малиновской в доме Сивкова, куда она переехала вместе с Коленкиной и где несколько дней жили Перовская и я, могло попасться еще больше народа. Правда, надзор полиции был замечен, и квартира Малиновской временно объявлена была под карантином, но как-раз накануне ареста Малиновская объявила, что полиция оставила ее в покое, что, вероятно, мы ошиблись, и в знак снятия карантина просила нас прийти к ней на именинный пирог. Прийти должны были многие, и в том числе Сергей Кравчинский. По счастью, когда Морозов, благополучно избавившись от засады на квартире Буланова, пришел ко мне в 4-ю роту Измайловского полка, где я временно жила с Ольгой Натансон, к нам зашел без звонка какой-то молодой человек в золотых очках и что-то шопотом сообщил Морозову.

Это был А. Штанге, родственник О. Натансон, который пришел предупредить ее, что сегодня в ночь в доме Сивкова, где и он жил, произошел, по рассказу прислуги, серьезный обыск в квартире каких-то двух женщин, было оказано вооруженное сопротивление одною из них, и обе были арестованы, а на квартире оставлена засада полиции. Сомнений не могло быть, — обыск был у Малиновской и стреляла, конечно, Коленкина, всегда носившая с собою револьвер и решившаяся не отдавать своей свободы без сопротивления. Выстрел Коленкиной мог иметь еще и то значение, что у Малиновской, занимавшейся

приготовлением необходимых для конспиративных целей паспортных печатей, могли быть важные образцы или подлинные чьи-нибудь чужие документы, арест которых мог сгубить немало лиц, и, оказывая сопротивление, она давала время Малиновской уничтожить их. Штанге тревожно спрашивал об О. Натансон; она весь день не появлялась, все признаки были за то, что она арестована. Я жила у нее без прописки, и мне в тот же вечер пришлось оставить ее квартиру, которую, может быть, ей полезно было открыть полиции. Морозов пошел предупредить Кравчинского и других об аресте Малиновской, а мне пришлось спешить искать другого убежища. Настоящего чужого паспорта для меня тогда еще подыскать не удавалось, а с фальшивым, в это время усиленной травли, прописываться было очень опасно; обо всех вновь прописываемых паспортах полиция делала справки по телеграфу в местах выдачи документа, и самый арест квартиры Буланова и Коленкиной можно объяснить только справками и выяснившейся подложностью паспортов.

С этого времени началось для меня довольно тяжелое и утомительное скитание по Петербургу, которого раньше я не знала и где легально никогда не жила. Приходилось ночевать то у тех, то у других добрых людей, правда, оказывавших мне всегда самое радушное гостеприимство, но склад жизни которых, регулируемый той или другой профессией, был совсем не тот, к которому мы привыкли в нашей, так сказать, походной жизни. Меня тяготила также отчасти забота о том, что мое присутствие подвергало некоторому риску этих незнакомых мне людей, гостеприимство которых было частью данью личного расположения к тем, кто приводил меня к ним, частью молчаливым сочувствием тому делу, которому мы служили. Как бы то ни было, я до сих пор с глубокой благодарностью вспоминаю супругов Б-х, А-х, К-о, у которых я провела несколько дней, и присяжных поверенных Ольхина[55] и Корша[56]; последних двух я знала раньше как защитников по процессу 50-ти. Всего дольше я прожила у Е. Корша, оказывавшего и раньше некоторые услуги организации «Земля и Воля», а весною 1878 года содействовавшего В. И. Засулич, в момент освобождения ее из тюрьмы, удачно укрыться от преследования полиции. Во время замешательства, вызванного выстрелом Сидорацкого[57], Е. Корш усадил В. Засулич в экипаж, который и умчал ее вон из толпы. Эта свобода куплена была, однако, не даром: молодой 17-летний Сидорацкий, недавно выпущенный по процессу 50-ти, пал искупительной жертвой; один из жандармов метким выстрелом положил его на месте[58]. Е. Корш, издававший в то время газету «Северный Вестник»[59], напечатал также известное письмо

Веры Засулич, за которое и была закрыта его газета. Впрочем, он жаловался, что петербургские собратья так доезжали его, что он и без того вынужден закрыть ее. Я без чувства благодарности не могу вспомнить его жену, а также свояченицу, приходившихся близкими родственницами Смецкой [60] — моего товарища по Цюрихскому университету; она была одной из видных последовательниц Бакунина [61].

Любовь Смецкая, попав уже в 80-х годах в ссылку в Сибирь, вышла замуж за бывшего тогда в ссылке, а впоследствии получившего известность польского писателя Шиманского [62]; по возвращении в Россию Смецкая скоро сошла с ума и умерла в приюте для душевнобольных, оставив по себе только одного сына; так и затерялась в общем движении эта крупная сила почти без следа.

Присяжный поверенный Ольхин. Довольно продолжительное время (с неделю) провела я также у Ольхина, с которым беседы были продолжительные и носили уже некоторый деловой характер. Там бывали Кравчинский, Морозов, Ал. Михайлов, а раньше О. Натансон, Оболешев и другие. Ольхин часто заводил речь о земских планах систематических петиций к правительству о введении конституционного представительства на Руси. Он говорил, что в земских сферах подумывают об устройстве общеземских съездов, но что большинство земств так задавлено администрацией, что рассчитывать на единство действий невозможно. Напротив, мысль об издании подпольного земского органа здесь в России, подобно тому, как издается «Земля и Воля», считается многими земцами гораздо более полезной и осуществимой; они просят только содействия революционной партии в деле печатания такого земского органа. Об этом Ольхин и раньше беседовал с другими революционерами, но как тогда, так и теперь ему неизменно отвечали: «Партия поможет вам перевезти шрифт из-за границы, поможет советом, как устроить типографию, считая смелую земскую борьбу полезной для общих целей свободы, но самим держать тайную типографию для земской подпольной газеты партия согласиться не может; у нее слишком много своих прямых задач. Но если земцы серьезно хотят внести лепту в дело русской свободы, они должны уметь, если придется, и серьезно пострадать за нее». На этом переговоры и оборвались.

В 1878 году революционной партии и вообще было не до земцев; благодаря усиленной охране, правительство продолжало выхватывать все новые и новые жертвы из рядов партии. Почти каждый день ей приходилось все более и более смыкать свои ряды. Друзья стали беспокоиться за Сергея Кравчинского;

правда, уже, кажется, с сентября он жил свободно по прекрасному настоящему паспорту; в его квартире у Пяти Углов не только происходили редакционные собрания «Земли и Воли», но к нему захаживали иногда его ближайшие друзья; но все знали, что не сегодня-завтра какая-нибудь роковая случайность может стоить ему головы. Всех больше оберегал его старый товарищ Д. Клеменц. Он упрямо настаивал, чтоб Сергей уехал за границу, устроил все необходимое для этого, и в один холодный ноябрьский день С. Кравчинский покинул Петербург, не предчувствуя, быть-может, что больше никогда не суждено ему вернуться на родину и что не обнять ему больше многих, многих из его лучших старых друзей.

Мне лично еще пришлось, однако, не раз встретиться с ним на общем жизненном пути. После отъезда Кравчинского я не долго оставалась в Петербурге; я была утомлена моим бесприютным скитанием, а подходящего настоящего паспорта, по которому я могла бы свободно жить, не находилось. Чаще других меня посещали у Е. Корша Н. Морозов и Ал. Михайлов, который перед арестами проектировал было для меня роль пропагандистки в молодежи, но теперь, после короткого делового обсуждения моего положения, мы увидели, что при настоящих полицейских условиях пропагандой в молодежи сколько-нибудь продуктивно может заниматься только лицо по возможности легальное, иначе оно само погибнет и повлечет за собой новые бесплодные жертвы в молодежи. После этого разговора, посоветовавшись еще с некоторыми товарищами, я решила уехать временно за границу, пока пройдет первый пыл правительственного преследования. Морозов и Ал. Михайлов советовали мне, пользуясь свободным временем за границей, написать историю деятельности нашей революционной организации (лиц, судившихся по процессу 50-ти) и женского студенческого кружка, из которого вышли женщины нашего процесса. Написать эту историю просил меня также еще раньше и С. Кравчинский. Таким образом, время пребывания за границей я надеялась провести не без пользы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Простившись с моими новыми товарищами, так скоро ставшими мне не менее родными, чем те, которых я еще так недавно потеряла, с которыми я делила общую работу, общие опасности, а затем тюрьму, осуждение и ссылку, я наскоро собралась за границу. Мне предстояло перебраться через границу без паспорта при помощи евреев-контрабандистов. Такая переправа так вообще рискованна и трудна, в особенности для женщины, что я не могу умолчать о ней.

На Варшавский вокзал меня проводил Н. А. Морозов, обещавший аккуратно писать, а до Вильно ехала со мной студентка, Фанни Личкус[63], бывшая уже, как я потом узнала, женой С. М. Кравчинского. Это была симпатичная молодая девушка, очень недурная собой. Она обладала хорошим сердцем и незаурядной деловитостью. Несмотря на свои двадцать три, двадцать четыре года, она умело устроила переправу, поручила меня верным контрабандистам и сама дожидалась в Вильно или, кажется, даже в Вилковишках, пока меня не переправят благополучно.

Путешествие с контрабандистами. Я отдалась доверчиво и безропотно в руки простого еврея с традиционными рыжими пейсами, которому меня поручила Фанни. Он ехал со мною в одном вагоне 3-го класса, переполненном еврейской беднотой. Крик многочисленных детей, визг измученных, растрепанных женщин, гул гортанной, непонятной мне речи, хлопотливая суета мужчин, терпеливо устраивавших свои мечущиеся в волнении семьи,—все это кружило мне голову в атмосфере плохо отапливаемого грязного вагона, наполненного каким-то прелым запахом сушеной рыбы и лука, остатки которых в изобилии покрывали пол. Под вечер мы доехали до Вилковишек, где я вышла из вагона вместе с моим провожатым, который, ни слова не говоря, взял в руки мой чемоданчик и сделал знак, чтоб я следовала за ним.

Были уже сумерки короткого зимнего дня. Спустившись с крыльца станции, мы подошли к громадных размеров высокой телеге, какой я раньше не встречала (это был еврейский фургон); поперек этой телеги было положено четыре или пять голых досок для сиденья; поспешно, наперебой, толкая друг друга, карабкались по ступицам колес мужчины и женщины, спеша занять места. Над всей этой тесной группой людей стоял тот же своеобразный гомон голосов, какой провожал меня всю дорогу и который своей необычностью волновал меня. Только впоследствии на Востоке, на Каспийском и Черноморском побережье я встречала ту же стихийную, непривычно волнующую, громкую нескладную музыку толпы.

Под гул этой крикливо-хриплой, пугавшей меня музыки, я кое-как забилась в телегу на первое попавшееся, самое неудобное место, и мы тронулись в путь. На козлах с длинным бичом в руке сидел молодой еврей в грязном, засаленном, холщевом на вате лапсердаке и погонял двух больших, но плохо кормленных лошадей, которые с трудом тащили нас, человек, по меньшей мере, казалось мне, пятнадцать. Дорога была шоссейная, кругом расстилались поля, покрытые снегом, кое-где вырисовывались в ночной мгле жалкие деревушки с соломенными крышами и покачнувшимися заборами. Время-от-времени мы останавливались у какой-нибудь придорожной корчмы, куда сбрасывались какие-то узлы, иногда после длинных, крикливых переговоров высаживались люди, и мы ехали дальше, окутанные глубокой ночной мглой, куда—я не знала. Поздно ночью остановились мы, наконец, еще у какой-то, казалось, одиноко стоявшей в поле корчмы, окна которой мигали издали своими тусклыми огнями. Мой спутник слез с фургона, сказал что-то по-еврейски вышедшей на стук колес пожилой, довольно тучной еврейке, покрытой большим платком, лохмотья которого развевал ночной ветер. Она ответила кивком головы, и мой спутник, схватив мой чемоданчик, живо высадил меня из фургона, потянувшегося дальше развозить последних пассажиров.

Ночь в корчме контрабандистов. Когда я переступила порог и вошла в сени, мне навстречу из полуотворенной двери налево вырвался такой громкий гул пьяных голосов с громкой отчетливой руганью на родном мне русском языке, что сердце мое застучало так, как не стучало оно даже в тот ночной час, когда несколько месяцев назад я пробиралась в Сибири одна-одинешенька по спящим улицам маленького городишка, чтобы спрятаться в пустынном придорожном лесу, где с тревогой и надеждой поджидала до рассвета человека, присланного за мной товарищем Геллером из Тюмени, чтобы оттуда

бежать дальше в Россию. Правда, здесь в этой корчме мне предлагали кров, я не рисковала здесь встретить ни лесного зверя, ни озверевшего бродяги, как в сибирском лесу, но на меня пахнуло из-под этой гостеприимной кровли таким смрадом пьяного вертепа, что сердце мое, пережившее не одну тревогу, стучало и стучало, не слушаясь воли.

Еврейка-хозяйка, не обращая внимания на мое невольное содрогание, провела меня дальше в сени, закрыв дверь налево, где бушевала пьяная ватага, провела меня в маленькую холодную каморку направо, которая почти вся была занята высокой, заваленной пуховиками кроватью под грязным ситцевым пологом, да простой, некрашенной скамьей, стоявшей в углу. Хозяйка ломаным русским языком предложила мне раздеться и лечь в постель, на что я сначала упрямо не соглашалась, но потом, когда она сказала мне, что в соседней комнате кутят пограничные солдаты, которые легко могут зайти сюда и увидеть меня, и что мне непременно нужно укрыться в постели, упрямствовать было невозможно; я завернулась в грязные пуховики, как была в одежде, и провела ужасную, бессонную ночь. В мою оставшуюся незапертой каморку несколько раз входили, о чем-то шептались, опять выходили; в углу на скамье кто-то громко храпел, а рядом до рассвета длилась пьяная оргия; я слышала возмутительную ругань, визг женских голосов, покрывавших звуки заунывной еврейской песни, напеваемой обрывающимся пьяным молодым, но уже надтреснутым женским голосом, вибрирующие детские нотки которого порою до слез волновали душу. Настал, наконец, рассвет, оргия стихла. Вероятно, или все заснули, или разбрелись. Через скважину полога я могла видеть угол окна, выходившего на грязный, загроможденный всякой рухлядью двор, обнесенный высоким частоколом. Я поняла, что я заперта, что у меня нет другого выхода, как через общую дверь, и я стала покорно ждать. Давно утратила я детскую привычку молиться, но тут молитвенное настроение, давно позабытое, помимо воли охватило душу. Я чувствовала себя беспомощной щепкой, брошенной в волны грязного моря жизни; моя свобода, моя честь, моя судьба были в руках этих бедных, грубых, невежественных людей, живущих ночными оргиями. Я знала, что какие-нибудь три, пять рублей, которые обещала Фанни за мой переход границы, были жалким ничто, и я молила укрепить совесть этих людей,—в ней была моя единственная защита...

Переправа через границу. Когда рассвет сменился ясным днем, ко мне вошла вчерашняя еврейка-хозяйка; она принесла мне подержанный шерстяной клетчатый платок, посове-

товала спрятать меховую шапочку, бывшую на мне, и, покрыв меня этим платком, вывела из корчмы.

— Сейчас на часах стоит знакомый солдат,—сказала она,— и перейти границу можно.

Несмотря на предстоящую новую опасность при переходе границы, я счастливо вздохнула, выйдя на простор и на свежий воздух. Я только тут узнала, что корчма расположена близ местечка или заштатного города Владиславова. Мы шли с еврейкой рядом мерным, спокойным шагом к речке, через которую виднелся неширокий деревянный мост; впереди шел вчерашний мой спутник и нес чемодан; я сама видела, как он перешел с моим чемоданом по ту сторону реки и вошел тут же близко в приличного вида каменный дом, где и оставил мои вещи. Дом этот оказался гостиницей пограничного немецкого местечка, откуда идут омнибусы к одной из ближайших железнодорожных станций дороги на Берлин. Мы с еврейкой, подойдя к мосту, почему-то перешли не сейчас; ей что-то, очевидно условное, сказал солдат, и мы должны были опять вернуться и чего-то выжидать. Это меня волновало. Наконец, минут через двадцать, показавшихся мне вечностью, мы вторично подошли к мосту и на этот раз беспрепятственно перешли на немецкую сторону. Солдат пытливо обвел меня взглядом, но ничего не сказал; я открыто смотрела на него, и он, очевидно, ничего не нашел подозрительного ни в моем лице, ни в фигуре и молча пропустил меня. На немецкой стороне стражи не было, и я беспрепятственно прошла в гостиницу, где уже находились мои вещи. Еврею, несшему мой багаж и поджидавшему меня там, я дала немного мелочи (меня предупреждали, что щедрость при переправе через границу опасна), за которую он благодарно снял шапку, и оставил меня одну. Оказалось, что, помимо меня, было уже заказано мне место в омнибусе, отходящем на станцию к вечеру, а пока мне предложили занять номер.

В пограничной немецкой деревенской гостинице. Какой контраст между грязью корчмы, где я провела ночь и которая, казалось, со времен Григория Отрепьева [64] не убиралась и не чистилась, как бы сберегая «пыль веков» на своих почерневших стенах, и этой немецкой деревенской гостиницей! В маленькой комнатке, которую мне отвели во втором этаже, было тихо и уютно; стены были крашены, правда, простой дешевой масляной краской, но, очевидно, каждую субботу мылись; кровать и умывальник также не заставляли желать ничего лучшего. Небольшое, чисто протертое окошко выходило на речку; вдали в синеве зимнего тумана виднелась родная земля, несчастная, исстрадавшаяся, подневольная. Я долго глядела

в эту убегающую синеву сливавшегося на горизонте неба и снежного поля, и меня как-то уже не радовала моя свобода...

Стук в дверь вывел меня из раздумья. Мне сообщили, что омнибус уже готов и ждет меня, и предложили что-нибудь закусить на дорогу. Я съела бутерброд и поспешно вышла. Перед крыльцом стояла прекрасная венская двухместная каретка с кучером и почтальоном на козлах. Я оказалась единственным пассажиром этой каретки-омнибуса; мое одиночество не пугало меня, напротив, я почувствовала себя прекрасно. Сидя удобно на мягком бархатном сиденьи, я задремала: тревоги прошлой ночи и этого дня утомили меня. Поздно ночью я подъехала к одной из станций железнодорожной линии Эйдкунен—Берлин и, взяв билет 3-го класса до Женевы, покатила прямо в Швейцарию, где еще так недавно я проводила светлые годы моего студенчества, где у меня было так много товарищей и друзей, и где теперь я могла остаться совсем одинокой.

Приезд в Женеву. Поезд пришел в Женеву часов в восемь утра; я оставила на вокзале вещи на сохранение и, несмотря на ранний час, отправилась в русскую библиотеку, адрес которой я узнала у одного из группы носильщиков, поджидавших обыкновенно приходящие поезда. Я знала склад жизни в Швейцарии и была уверена, что даже русское учреждение в этот час будет открыто. Я не ошиблась: библиотека была уже отперта; на столе лежала книга членов с фамилиями и адресами.

Профессор Драгоманов[65], редактор «Громады». Переглядывая эту книгу, я скоро отыскала несколько знакомых фамилий, в том числе фамилию профессора Драгоманова, которого я немного знала еще во время моего студенчества, когда он вместе с семьей своей путешествовал за границей и посетил Цюрих—центр русской эмиграции и студенческих кружков того времени за границей. Я была уверена, что Сергей Кравчинский если не был раньше знаком, то успел уже наверно теперь познакомиться с Драгомановым, и что во всяком случае через него я скорее разыщу всех и вся, а потому сейчас же отправилась к Драгоманову. По дороге там и сям я встречала русские лица—мужские и женские; это все были молодые, часто худые и истощенные девушки и юноши, представлявшие резкий контраст с местной, упитанной студенческой молодежью, выделяясь бедностью своего наряда и какой-то не по возрасту озабоченностью взгляда. Встречаясь со мною, они тоже узнавали во мне свою,—вероятно, по моей слишком зимней одежде,—и пытливо всматривались. Я отвечала им приветливым взглядом; я знала, что рано или поздно мы должны встретиться в тесном кругу местной русской колонии.

Драгоманова я застала дома; он сидел у себя в кабинете за литературной работой: он уже оставил тогда вместе с профессором Зибером[66] кафедру в Киевском университете и издавал в Женеве журнал «Громаду»[67] на малороссийском языке, а также писал разного рода исторические работы. Жена его, красивая, но очень бледная и болезненная женщина, полулежала в кресле в столовой, куда провела меня девушка-служанка, отправившаяся доложить обо мне «г-ну профессору». Живой, любознательный Драгоманов пришел сейчас же и стал расспрашивать, что творится на Руси, о профессорских кругах, о молодежи, о земцах; я старалась удовлетворить его любознательность, как могла, и у нас незаметно пролетело время. Жена его была очень приветлива, но говорила мало; она, очевидно, страдала тяжелой болезнью, которая отнимала у нее все силы. Она не могла даже присмотреть за своей маленькой 8-месячной дочкой, которой на моих глазах сам Драгоманов должен был переменять белье. Когда я встала, чтоб проститься, Драгоманов и жена его уговорили меня остаться обедать, говоря, что к обеду придет, вероятно, Сергей Кравчинский и кое-кто из сотрудников «Громады», которые будут очень рады познакомиться со мной; а пока он предложил мне перебраться к ним в пустую свободную комнату, имевшуюся у них наверху. Я боялась стеснять его больную жену, но она уверяла, что будет рада, что присутствие мое в доме поможет ей забыть ее нездоровье. Я согласилась. Драгоманов сам затопил каменным углем калорифер, чтобы согреть мою комнату, и я невольно удивлялась мужеству этого человека, умевшего мирить серьезную литературную работу с уходом за больной женой и маленьким ребенком, стараясь облегчить этим приготовлявшую обед служанку от всякой лишней работы.

Через час я уже устроилась в моем новом жилище, обставленном с чисто русской простотой эмигрантов того времени: кроме жесткой походной кровати, небольшого некрашеного стола и плетеного стула в комнате ничего не было,—да мне и ничего не было нужно. Небольшое оконце под сводчатой крышей моей мансарды выходило в сад, вдали виднелась чудная перспектива далеких гор, и мягкие переливы голубого озера радовали взор, заставляя забывать все мелкое, преходящее и ненужное. Только бы побольше тепла; я так назяблась в нетопленных европейских вагонах, так ослабела от пережитых волнений тюрьмы, суда и ссылки, что не могла согреться долго, долго, всю эту зиму.

Галицкий писатель Павлик, сотрудник «Громады». Устроившись и скоро переодевшись в моей комнате, я

спустилась вниз, в столовую, и там застала уже в сборе маленькое общество, расположившееся возле тлеющего камина. Тут было несколько молодых людей, сотрудников и наборщиков «Громады», и один господин постарше—среднего роста брюнет, лет тридцати пяти, с большими, очень черными, какими-то тусклыми глазами. Это был Павлик [68], сотрудник «Громады», известный малороссийский писатель-галичанин, очень влиятельный у себя на родине как талантливый беллетрист и организатор многочисленных галицких кружков. Он был гостем в Женеве и собирался скоро уехать обратно. После нескольких незначительных фраз первого знакомства, он с увлечением стал рассказывать, как быстро идет рост национального самосознания в Галиции, благодаря воздействию литературы; как это не нравится местным помещикам-полякам, но как они, несмотря на всю их политическую силу в Австрии, должны мириться с этим неприятным для них фактом...

Когда он говорил это, его тусклые глаза загорались, и я видела, что этот вопрос—религия его жизни. Но меня, русскую, его радость умиляла, но не трогала. Я выросла в русской деревне и в Москве, центре великой Руси, я привыкла с детства слышать и мечтать о чем-то широком, мировом, всепримиряющем; а тут я видела только радость победы в узко-местной борьбе двух близких отпрысков славянского племени, борьбе, имевшей, правда, серьезные реальные корни в социальном неравенстве мужика-русина или русского,—как выражался Павлик, уверяя, что русины в Галиции называют себя русскими,—и помещика-поляка. Но зачем же борьбу с этим социальным неравенством переносить на племенную почву, зачем создавать пропасть между двумя близкими народностями, которым в Австрии следовало бы скорее отстаивать свою более широкую расовую (славянскую), а не узко-племенную задачу, такую ничтожную перед лицом всепоглощающего германизма.

Во время этой беседы в столовую вошло еще несколько гостей или, лучше сказать, обычных посетителей Драгоманова; это были также соработники Драгоманова по «Громаде», все природные малороссы с певучей речью и характерной гортанностью выговора. Почти одновременно с ними вошла и старшая дочь Драгоманова, красивая девочка лет 14-и, только-что вернувшаяся из школы. Последним пришел Сергей Кравчинский. Я бросилась к нему навстречу, и мы обнялись, не смущаясь присутствующими и зная, что эти люди поймут нашу братскую радость и не перетолкуют ее.

Скоро вошел Драгоманов, и все сели за стол. Обед прошел очень оживленно. Драгоманов был весел и шутлив. Я в первый

раз слушала непринужденную беседу этого человека в тесном семейном кругу; его речь дышала жизнью; его широкие исторические познания придавали беседе глубокий, чисто философский интерес; но он не был человеком, принудительно овладевающим словом; напротив, он каждого вовлекал в беседу.

Ментранпаж «Громады» Хома. После одного живописного рассказа из быта средневековой Италии, историей которой Драгоманов только-что занимался в Риме, он заставил своего ментранпажа, по имени Хома, рассказать нам, как он благополучно объездил Европу, побывав даже в Париже, нигде не употребляя другого языка, кроме малороссийского. Это был ряд комических сцен, заставлявших хохотать всех присутствующих; Хома завершил свою речь рассказом о том, как один раз в Париже, из ложной торопливости, он изменил своему родному языку и прибег к языку французскому, но так неудачно, что с тех пор закаялся употреблять этот собачий язык, в котором все слова похожи одно на другое.

— Судите сами, — говорил он, — я держу в руках горячие сосиски, спешу домой, чтоб они не простыли, вспоминаю, что у меня нет горчицы, забегаю в лавочку и второпях говорю — mouchard. Лавочник, ничего не говоря почти, в шею выталкивает меня; я роняю в грязь мои бедные сосиски и остаюсь без обеда. Оказывается, нужно было сказать moutarde *, а мне на язык попало слово mouchard **, которое так часто повторяют наши русские за границей...

Драгоманов и его громадцы сами, очевидно, подсмеивались над чересчур утрированным украинофильством, которое принимало на Руси иногда очень комические формы.

Насколько потом я узнала Драгоманова, наблюдая его ближе, это был не только широко образованный и от природы очень умный человек, но и одаренный очень хорошим, очень гуманным сердцем. Я не могла читать его статей в «Громаде», так как не легко понимала малороссийский язык, но его беседы были всегда полны ума и глубокого интереса. Правда, Сергей Кравчинский, имевший терпение прочесть первые номера «Громады», наедине с более близкими, как чистокровный революционер-социалист, подсмеивался над хохломанством, узкая постановка идей которого противоречила широким задачам братства народов, лежавшим в основе русского социализма. Но, понимая, что Драгоманова, сжившегося со своими взглядами, не переубедишь, он щадил в нем его святая-святых и не заводил бесплодных споров.

* Moutarde — горчица.
** Mouchard — шпион.

Отношение Драгоманова к революционерам. Но не все представители русского социализма смотрели так широко на право духовной свободы каждого, и через некоторое время, кажется, в 1881 г., Драгоманов выступил со своим заявлением против русской социально-революционной партии, которое наделало в то время много шума. Меня в то время не было в Швейцарии, и я не знаю, как это произошло; его заявление я читала и не знаю, чем оно было вызвано, но думаю, что некоторую роль в этом сыграла и нетактичность некоторых революционеров. Но в описываемое время (конец 1878 и первая половина 1879 г.) Драгоманов очень симпатизировал нам и относился к революционным деятелям с большим уважением, хотя круг его знакомств в этой сфере не был широк. Так, несмотря на присутствие в это время в Женеве Веры Засулич, Стефановича и Дейча, я их не встречала у Драгоманова и познакомилась с ними несколько времени спустя, кажется, просто при встрече на улице, когда в первые дни моего приезда в Женеву Сергей Кравчинский был моим путеводителем, пока я не освоилась с городом.

В. И. Засулич произвела на меня сразу очень симпатичное впечатление своей простотой и безыскусственностью. Она никогда не говорила о своем, как она шутя выражалась, «подвиге» и по натуре принадлежала вообще к людям крайне замкнутым. Эта замкнутость особенно огорчала открытую натуру Сергея Кравчинского, и он иногда с грустью жаловался мне на это.

Когда В. И. бывала в хорошем расположении духа, речь ее блистала шутливыми, часто меткими замечаниями, но иногда она бывала, видимо, тяжело настроена. «Самокритика заедает». уверял меня Сергей. Он относился к В. И. Засулич с глубоким уважением, ценил ее прекрасную натуру, но находил, что она человек очень ограниченного круга привязанностей. Она была предана глубоко, бесповоротно, на всю жизнь своим немногим друзьям, но в ней не было заметно широкого интереса к человеческой душе вообще.

Сергей Кравчинский за границей. Чутким отношением к человеческой душе вообще в высокой мере обладал сам Сергей Кравчинский, и благодаря этому он был величайшим мастером нравственного и идейного единения в революционном мире. Так, организация «Земля и Воля», после крупных осенних арестов 1878 г., была обязана своим возрождением главным образом С. Кравчинскому и Морозову[69], которые и придали ей тот новый яркий характер, каким запечатлелась деятельность этой организации конца 1878 и первой

половины 1879 года, продолжением которой является Липецкий съезд [70], а затем потрясающая весь мир своей борьбой организация «Народная Воля», в лице ее Исполнительного Комитета первого состава — «Великого Комитета», как выражаются некоторые...

Подвергаясь ежеминутной опасности, Кравчинский оставил Петербург только тогда, когда поставил окончательно на ноги газету «Земля и Воля» и берег ее, как воин бережет знамя. Сознательно ценя нравственное единение, как величайший цемент революционного дела, залог его преемственности и бессмертия, Кравчинский скорее переоценивал, чем недооценивал людей и тем бессознательно подымал их. Так, с каким-то почти священным поклонением относился он к изумительному опыту организации в народе Стефановича, воскресившего в сущности самозванство в конце XIX века. Обман возмущал Кравчинского, но изумительное знание масс, умение двигать ими восхищало его...

Намерение Кравчинского поступить в высшую военную школу в Париже. Быть вождем народным было всегда мечтою самого Сергея Кравчинского, и в описываемую минуту, заброшенный судьбою на чужбину, он мечтал употребить свое время и свои крупнейшие способности на изучение европейского военного дела и собирался, как он признался мне по секрету, поступить под чужим именем в высшую военную школу Франции (Сенсирскую), где когда-то воспитал свой гений Наполеон I [71]. Но судьба немилостива к нам, русским, или, лучше сказать, мы сами не бережем, не ценим и не умеем подмечать во-время проблески нашего гения.

Участие в Герцеговинском и Беневентском восстаниях. Суровые обстоятельства сковали С. Кравчинского, разменивая на мелочи его крупнейшие боевые силы; так, в 1876 году он дрался в рядах герцеговинских повстанцев, а затем участвовал в восстании в Италии в Беневенто [72]. Эти восстания не имели и не могли иметь тогда мирового значения и были для С. Кравчинского только практической школой для будущего. Но великого боевого будущего дождаться ему не пришлось. Оторванный от близких, гордый и щепетильный, Кравчинский принужден был зарабатывать кусок хлеба в Женеве тяжелым переводным трудом. За год перед тем он в совершенстве изучил итальянский язык, сидя вместе с товарищами итальянцами в беневентской тюрьме, и овладел также языком испанским.

Работы Кравчинского. Теперь в Женеве он взялся переводить с испанского очень интересный роман известного

испанского политического деятеля Кастелляра[73], рассчитывая поместить его в журнале «Дело»[74], издатель которого Благосветлов симпатично относился к революционерам. Сергей работал со страстью, без устали, как умеет работать только русский. Он надеялся получить сразу несколько сот рублей и осуществить свою мечту о поступлении в Сенсирскую школу. Я помогала ему, пиша под его диктовку, что почти вдвое ускоряло дело. Так работал он без передышки. Между тем, будь он менее щепетилен в нравственном отношении, будь он только честолюбив, он мог бы сразу прогреметь на всю Европу, а может быть, и повернуть по-своему колесо истории. Случай к тому давался ему прямо в руки через одного из его товарищей.

Князь Петр Кропоткин. Кроме перечисленных мною эмигрантов, в Женеве проживал в то время князь Петр Кропоткин; в описываемое время Кропоткин делал только первые шаги в Европе и начал издавать свою газету «Réwolté» *[75]. Это был в то время маленький листок пятисантимного типа, который издавал Кропоткин на свои личные средства и еще с трудом собирал подписчиков; каждый новый подписчик так его радовал, что как-то раз, я помню, он встретил на улице Кравчинского и, забыв поздороваться, без всякого предисловия воскликнул:

— А знаете, у Révolté есть уже подписчик в Буэнос-Айресе.

Но как ни была ограничена подписка «Révolté», политические деятели Европы уже заметили князя Кропоткина. В самом деле, Кропоткин работал с изумительной энергией и не только отдавал свое время «Révolté», но занимался еще у известного коммунара — географа Реклю — по географии России и успевал также бывать на рабочих собраниях и говорить там речи, проповедуя анархические идеи. С его именем начали мало-помалу считаться.

Агенты Бисмарка и их предложение. Раз както Кропоткин конфиденциально сообщил Кравчинскому, а Кравчинский по секрету поведал мне:

— Представьте, ко мне явились агенты Бисмарка[76] с предложением уговорить кого-нибудь из крупных русских революционеров издавать за границей большую русскую революционную газету, на которую обещали дать большие деньги. Сергей Кравчинский с негодованием отверг это предложение, и когда Кропоткин, не называя Кравчинского, передал этот отказ бисмарковскому посланному, тот с изумлением воскликнул:

---

* «Мятежник».

— Удивительный народ эти русские, они совсем не политики. Вот посмотрите *... тот не постеснялся взять у нас деньги, и поглядите как выросла его... **».

Да, русские революционеры — не политики в бисмарковском вкусе, они не продают себя и не покупают других. А как наверняка думал действовать этот агент Бисмарка! В то время новая эмиграция была так бедна, как может быть беден только самый несчастный из пролетариев во время крупного рабочего кризиса. Заработки были редки, присылки от родных или друзей также редки, и мы делились ими по-братски.

Мученическая верность нравственным принципам. Да, русские революционеры и европейские парламентские деятели — величины несоизмеримые. А будь у С. Кравчинского хорошие средства, мир скоро заговорил бы о нем; у него на это были все внутренние данные, но темными средствами он пользоваться не хотел. Русский революционер старого народнического типа, каким продолжал быть Кравчинский, несмотря на резкую перемену приемов борьбы, нравственный принцип ставил во главу угла своего политического credo***; он был ближе к христианским рыцарям средних веков, чем к немецким социалистам лассалевского [77] времени. Бисмарк мог дать деньги на русскую свободу только для того, чтобы держать ее в руках и задушить в нужное ему время. Нет, наша свобода, вскормленная родной нищенской сумой, дала и еще даст миру много нравственных уроков, как бы ни старались враги позорить ныне ее лучших бойцов, рассеивая с таким трудом спаянные кадры народные.

Да, накануне крупного удара, готовившегося нашему правительству, Сергей Кравчинский с презрением отверг предательские услуги иностранца и делил свое время между химическими опытами над каким-то новым взрывчатым веществом, материалы для которого покупал на свои скудные средства, и литературной работой над переводом испанского романа. Так работал он без устали иногда часов по шестнадцати в сутки, и, пока я писала под его диктовку, он шагал взад и вперед по комнате, обдумывая дальнейшие фразы перевода. Дело шло у нас хорошо и дружно; нам жаль бывало потерять лишний час, чтобы итти пообедать, и Сергей наскоро притаскивал из соседнего рабочего ресторана большую миску супа на 20 сан-

---

* Идет фамилия одного из самых громких политических деятелей в Европе. По понятным причинам мы воздерживаемся пока от ее напечатания. Прим. ред. «Былого».

** Идет название газеты того же деятеля. Прим. ред. «Былого».

*** Политические принципы.

тимов и хлеба; мы съедали это торопливо, часто стоя, чтобы согреть окоченевшие от холода руки и ноги.

Образ жизни С. Кравчинского-эмигранта. Мы работали обыкновенно у Сергея, в его комнате, нанятой им подешевле в старом нагорном квартале Женевы с узкими темными средневековыми улицами. Комната была обширная, с двумя большими старинными запыленными мелкорешетчатыми окнами; вход был через какой-то лабиринт сводчатых коридоров, где всегда обдавало запахом мшистого камня. Зима была очень холодная, и в комнате стояла неимоверная стужа. Я писала завернутая с ног до головы в имевшийся у Сергея плед, и все-таки ноги стыли, пальцы коченели. Сергей редко позволял себе удовольствие топить ржавую железную печку, стоявшую посреди комнаты: она требовала так много дров, дрова в Швейцарии были так дороги, и нам никогда не удавалось вдоволь нагреть ее: комната была слишком обширна. Это — единственная роскошь, какую он себе позволял; ему нужен был простор; шагать взад и вперед по комнате было для него насущной потребностью, — это облегчало работу. В нем был и другой пережиток барства; он имел отвращение к керосиновым лампам, запаха которых не выносил, и завел для работы масляную лампу, что обходилось, конечно, дороже.

В феврале наша работа — обширный испанский роман страниц в 600 — была готова; С. Кравчинский отправил его в Россию и принялся за перевод другого, уже итальянского романа — «Спартак» [78], впоследствии напечатанного в журнале «Дело» уже в бытность редактором Станюковича [79]. Испанский роман так и остался в то время не напечатанным, и наш труд пропал даром, а с ним и надежда Сергея пробраться в Сенсирскую школу. Этот план нарушило еще и другое обстоятельство.

Приезд жены С. Кравчинского. Жена Сергея — Фанни Личкус — должна была стать через несколько месяцев матерью, и друг его Клеменц, извещая его об этом, сообщил, что Фанни хочет ехать к нему за границу и что Клеменц, с своей стороны, находит это необходимым и для нее, и для Сергея. Мы стали ждать Фанни; она на несколько дней запоздала, и Сергей тревожился; наконец, в конце февраля, а может быть и в марте, она приехала, очень измученная, несмотря на свое цветущее здоровье. Ее путешествие, как оказалось, далеко не было так удачно, как мое; она попала, переходя границу, в карантин, устроенный немцами по случаю чумы (на рогатый скот), и ее, недомогающую и взволнованную, подозревая в контрабанде, продержали на германской границе несколько дней, грозя вернуть в Россию, и только после усиленных

просьб позволили ехать дальше в Европу. Почему Ф. Личкус, тогда вполне легальная студентка, предпочла контрабандный переход через границу, я не знаю, но думаю, что она хотела сохранить свое имя политически незапятнанным близостью к эмигрантам, чтобы не отрезать себе возвращения на родину.

По приезде Фанни, Сергей нанял себе другую, более веселую и светлую квартирку из двух, правда, очень маленьких комнат. Нам пришлось прервать на время наши общие переводные работы; один из членов нашей колонии, эмигрант-нечаевец, очень симпатичный человек и хороший товарищ, князь Черкезов [80], уезжая в Париж для организации анархической пропаганды среди парижских рабочих, передал мне один очень хорошо оплачиваемый урок, отнимавший у меня несколько часов в день. Я, правда, продолжала ежедневно посещать Сергея и Фанни, но уже не для работы над переводом, к которому Сергей охладел после неудачи с романом Кастелляра, а для уроков итальянского языка, которые он мне давал на досуге. Благодаря знанию языка французского и отчасти латинского, язык итальянский давался мне легко. Вторую половину «Спартака», длительно печатавшегося в «Деле», я переводила в 1880 г. уже одна, и Сергей находил мой перевод очень хорошим и точным. Сергей старался также помочь мне овладеть живой итальянской речью; так, он постоянно говорил при мне по-итальянски с посещавшим его почти ежедневно членом бакунинской (романской) секции Интернационала, товарищем Сергея по Беневенто — Малатеста [81].

Это был очень симпатичный молодой человек, с живой речью и большими выразительными глазами. Я, впрочем, не решалась еще тогда говорить по-итальянски, но, когда разговор оживлялся, он неизменно сворачивал на язык французский, и тогда становился общим. Впрочем, Фанни продолжала недомогать и редко участвовала в беседах.

Мои уроки у Сергея занимали неделовые его часы, но и отдых его был полон труда; так, следя за моим итальянским чтением и поправляя мои ошибки в грамматических формах, Сергей, несмотря на мои протесты и на протесты своей жены, стоя у камина, стряпал обед, и этот учитель мой, с закоптелой сковородкой в одной руке и посудной щеткой в другой, был лучшим, какого я когда-либо знавала, а моими преподавателями были не только заурядные студенты, как водилось встарь, но и лучшие профессора Москвы, преподававшие на первых женских курсах III гимназии. Да, хорошее это было время для меня, но я с тоской и грустью вспоминаю его: Сергею с его изумительными способностями так и не удалось выбиться из

полунищенской жизни, растрачивавшей его гигантские силы иногда на ничтожные пустяки.

Последний удар исторического кинжала. Одаренный поэтической складкой, а потому временами суеверный, Кравчинский раз, раскалывая щепки для камина, сломал свой исторический кинжал, убивший Мезенцова; это был итальянский четырехгранный клинок, длиною не более 6 вершков, с цельной выкованной ручкой, покрытой тонкой пропаянной проволочной сетью. Хрупкая сталь от неловкого удара по твердому сучковатому дереву слабо хрустнула и упала к ногам Сергея. Он, пораженный, остановился и долго стоял молчаливый и мрачный, с опущенным взором.

Картина казни Пасанантэ. Я видела Сергея таким еще раз: то было во время нашей совместной работы над испанским романом. Захожу в комнату, — он неподвижно стоит над столом; я подхожу ближе, — он шагов моих не слышит; заглядываю из-за плеча и вижу на столе развернутый номер иллюстрированного журнала; я отшатнулась; на столе лежало изображение казни Пасанантэ, недавно перед тем осужденного в Мадриде и казненного какой-то средневековой казнью посредством задушения металлическим ожерельем, завинчиваемым сзади. Лицо казненного не было покрыто саваном и глядело с картины во всей своей ужасающей реальности. Я молча вырвала эту картину из-под глаз Сергея, и он только тогда очнулся.

— Зачем смотреть такие вещи? — сказала я.

— Отчего же не смотреть? Это надо, — коротко ответил он.

Вообще, когда Сергея не душила работа, он нередко бывал мрачен; мы шли тогда куда-нибудь, чаще к Стефановичу, Дейчу или Вере Засулич, с которыми у нас все-таки было несравненно больше общего, чем с эмигрантами другого времени, а иногда забирались далеко за город.

Наступила весна, из России писали нам не всегда хорошие вести. Иногда, не получая своевременно писем от Морозова, мы волновались с Сергеем.

Выстрел Соловьева. Выстрел Соловьева (2 апреля), для нас неожиданный, очень взволновал всех. В. И Засулич три дня скрывалась в тяжелой хандре; она не оправдывала такого направления деятельности; мне порой казалось, что всякий подобный насильственный акт (покушение на Дрентельна[82] и проч.) особенно сильно бил ее по нервам, так как она сознательно, а может быть, и бессознательно приписывала себе первый шаг в этом направлении деятельности, явно клонящейся в сторону активной борьбы с правительством. Стефанович и Дейч, равно как и другие эмигранты, отнеслись к выстрелу

Соловьева несравненно терпимее и только замечали, что это может помешать работе в народе. Сергей Кравчинский, напротив, говорил, что личный опыт всех нас показал, что и раньше сколько-нибудь широкая работа в народе была невозможна, что то, что можно было сделать, сделано, и рабочие сами могут теперь продолжать начатое дело пропаганды с несравненно меньшими жертвами, чем интеллигенты, а для того, чтобы широко поставить деятельность в народе, необходимо добыть хоть минимум свободы слова и союзов, и только тогда народ широкой волной примкнет к социалистическому знамени.

Сборы в Россию Стефановича, Дейча, Веры Засулич и мои. Мы все чувствовали, что назревает крупный исторический момент, из России сообщали, что настроение крепнет, кадры действующей группы расширяются, звали нас и обещали прислать за нами хорошего мастера пограничной переправы. Стефанович, Дейч, Вера Засулич и я решили ехать в Россию и, чтобы замести следы перед шпионами, сняли маленький домик в горах над Montreux, в Les Avants, куда и переехали все и, кроме нас, А. Эпштейн[83], Сергей и его жена Фанни. Вскоре Фанни должна была уехать в Берн, так как ей нужна была хорошая медицинская помощь. Сергей, видимо, волновался и разрывался на части; с одной стороны, ему хотелось провести последние дни с нами, его друзьями, которых ему, быть может, не суждено было больше встретить, с другой в Берне была его жена, готовившаяся со дня на день стать матерью. Мы все, люди несемейные, не могли вполне войти в его положение и желали подольше сохранить его для себя. Месяц пребывания в Les Avants остается и до сих пор одним из лучших моих воспоминаний.

Конспиративные приготовления к отъезду в Россию. Наш домик в две небольшие комнаты стоял одиноко, прилегая к скале; впереди расстилалась зеленая поляна, а кругом тесной стеной окружал могучий сосновый бор. Был конец мая, воздух был напоен весной, все склоны гор усеяны цветущими белыми нарциссами, распространявшими упоительный аромат; кругом полная величественная тишина природы, которая успокаивала душу, как бы отрывая ее от земли.

В. Засулич и я, мы занимали одну комнату; с утра она уходила гулять в горы, а я часа три писала мои записки о студенчестве в Цюрихе и о времени пропаганды организации 50-ти на московских фабриках и в других местах России. Я спешила закончить эту работу до отъезда в Россию.

Другую комнату занимала А. М. Эпштейн, а днем ею пользовались как общей приемной. Мужчины—Сергей Кравчинский,

Стефанович, Дейч—спали на чердаке, представлявшем собою прекрасно проветриваемый чистый сеновал. Несмотря на близость горной гостиницы, мы стряпали дома; гостиница нам была не по карману. Всего больше труда доставалось студентке А. М. Эпштейн, которая избегала всякой помощи с нашей стороны, уверяя, что нам нужно отдохнуть, что нам предстоит трудный путь, а она остается на месте.

Все время до обеда домик был почти пуст, но к обеду собирались все—кто с овощами, кто с фруктами, кто с провизией на завтрашний день, которую приходилось запасать внизу в Montreux. Стола не выносили, потому что не было достаточно ни скамеек, ни стульев, а усаживались на лужайке перед домом и обедали по-походному, разостлав скатерть на траве. В дурную погоду обедали в кухне. За обедом каждый делился своими впечатлениями, слышались шутки, смех. Всех радовала полная, безусловная свобода, в какой мы жили: ни города, ни его стеснений, а в особенности духа шпионского, что предвещало нам удачную переправу в Россию.

Зунделевич. Мы с нетерпением ждали Зунделевича [84] (впоследствии был осужден по процессу 16-ти [85] на вечную каторгу), который уже выехал за нами и был еще занят выполнением других поручений. Мы заочно знали его как человека очень крупного по энергии, деятельного и ценного в организации, а при личном знакомстве он очаровал нас товарищеской простотой, искренностью и задушевностью. Мы сразу стали с ним друзьями.

Сергей Кравчинский, прожив в Les Avants дней десять, получил спешную телеграмму и уехал в Берн. Через несколько дней мы узнали, что у него преждевременно родился сын и, прожив дня два, умер от слабости. Мы были все очень огорчены этим. Тревожная переправа через границу два—три месяца назад отразилась, быть-может, на здоровье матери и на жизни ребенка. Через некоторое время Сергей вместе с женой своей, еще слабой, побледневшей и грустной, приехал к нам в Les Avants. Наше пребывание в Les Avants близилось к концу. Приехал Зунделевич, и хотя я просила его остаться еще несколько дней и дать мне кончить мою работу, но он настаивал, что нужно спешить, говорил, что нас ждут со дня на день.

Обратная поездка в Россию моя, Стефановича и других. Пришлось повиноваться. Дня через два, мы, то-есть В. И. Засулич, Стефанович, Дейч и я, простились с Сергеем, его женой и А. М. Эпштейн и утром почти без вещей, как бы идя на обыкновенную прогулку, пешком спустились в Montreux и оттуда, никем не замеченные, с первым по-

ездом на Берн уехали в Россию. Никто не провожал нас. Сергей дошел с нами только до конца обрамленной лесом дороги и, крепко обняв каждого, долго стоял одинокий, провожая нас взглядом.

— Пусть мне напишут, если я буду там нужен,—сказал он мне.

Я обещала... Но его берегли и не решались вызвать, а кто знает, может, он внес бы своей могучей индивидуальностью единение и братство в разбредавшуюся революционную среду и на почве нравственного единения сумел бы примирить крайние оттенки мнений в общем дружном синтезе. Но этого не случилось. Высокая оценка боевых сил Сергея Кравчинского затмевала перед товарищами его изумительную силу нравственную, благодаря которой ему удавалось сближать украинофила Драгоманова, анархиста Кропоткина, шестидесятника-землевольца Жуковского [86], итальянского революционера Кафиеро [87] и французского коммунара Лефрансе [88]—людей не только различных политических взглядов, но и различной культуры. Только нечаевца Ткачева [89] он сторонился, считая в революции все жанры хорошими, кроме якобинского и самодержавного. Все его любили, все ему верили. А Сергею хотелось, очень хотелось ехать, и, не будь с ним за границей больной жены, вся судьба его сложилась бы, вероятно, иначе. Правда, ему, как и очень многим, пришлось бы, вероятно, умереть на эшафоте, но разве лучше та ужасная смерть, какая выпала на его долю после 17 лет безотрадного томительного изгнания, в бесплодной тоске по великому делу и в вечном искании скудного куска хлеба...

Сергей не поехал; мы, отъезжающие, были спокойнее и счастливее его. Нас было, считая Зунделевича, пять человек сразу. Перебраться была нам задача не легкая. Мы ехали день и ночь без остановки, сначала в третьем классе, стараясь ни костюмом, ни русской речью не обращать на себя внимания. Зунделевич давал практические советы, у него был уже опыт.

— Пожалуйста, не нахлобучивайте на глаза шляпу,—говорил он нам,—а то мне с вами будет история, как с О. Ковалик, которую перевозил прошлую осень. Она так конспиративно закрывала лицо шляпой, что ей стали уже заглядывать под шляпку и тем очень смущали меня.

Решено было перебраться двумя партиями: сначала я со Стефановичем, а потом В. Засулич с Дейчем. По Германии, для сокращения расходов, а отчасти и для конспирации, Зунделевич засадил нас в вагон 4-го класса. Вагоны были наполнены рабочими, преимущественно еврейским пролетариатом и женщинами-торговками, ехавшими с большими корзинами овощей

в ближайшие города и местечки; дальних пассажиров было очень мало. Каждый раз после остановки вагон набивался сразу так, что дохнуть было невозможно. Зунделевич успел, впрочем, как-то занять для нас место у стены, где поставил какой-то чемоданчик для сиденья, которого я у него раньше не видела. Оказалось, он так спокойно относился к предстоящей переправе, что успел забежать в магазин белья и платья в Берлине и набрать там «возмутительно дешево», как он уверял, разных воротничков, манишек, жилетов и пр...

— А вдруг у нас все это отнимут?—шутили мы.

— Нет, это везти не опасно, а вот бумаги и книги—за это может нагореть, и я не знаю, как я переправлю и переправлю ли еще вашу тетрадку,—сказал он мне.

Я просила дать мне ее с собой, но он наотрез отказал, говоря, что это может сгубить всех.

Проезд в 4-м классе очень утомил нас; было неимоверно жарко; выходить из вагонов с высокими подножками было очень трудно, а нам на дорогу Зунделевич запас еще в Европе соленых консервов буйволиного мяса; это, в свою очередь, возбуждало такую жажду, которая подчас была неимоверно мучительна. Мы шутя говорили Зунделевичу, что он нарочно подвергает нас этому маленькому искусу, чтобы все дальнейшее показалось нам пустяками.

Совместный переход границы в Россию. Действительно, переход через границу произошел крайне просто, но совсем не так, как перебиралась я из России. Было часов 5 дня. Нарядив Стефановича в еврейский картуз и дав мне покрыться большим платком, Зунделевич предупредил заранее, что нам придется пройти через караулку пограничного солдата и что я должна фигурировать как не знающая по-русски. Стефановичу разрешалось говорить, но по возможности с еврейским акцентом. Мы прошли с версту по опушке молодой березовой рощи, по какой-то узкой тропинке, которая привела нас к пограничной караулке; мы шли гуськом—впереди Зунделевич, за ним Стефанович, за Стефановичем я. Первым вошел Зунделевич, непринужденным жестом открыв дверь; посредине пустой избы стоял, качаясь на ногах, очень пьяный солдат и держал в руках—в одной почти выпитую бутылку водки, в другой стакан. Я заметила в эту минуту, что и у Зунделевича из кармана выглядывали горлышки двух бутылок. Солдат ступил, шатаясь, шага два нам навстречу, всматриваясь с любопытством в лицо Стефановича, а потом в мое.

— Да неужто же ты еврей?—спросил он Стефановича.

Тот не успел ответить, как вмешался Зунделевич и сказал:

— Да что ты, не помнишь его что ль, он еще недавно был у тебя, это мой родственник.

— Э, чорт с вами, на, выпей,—и он, разливая водку на грязный пол, подал стакан Стефановичу. Тот отхлебнул.

— Да ты пей все,—крикнул солдат и потряс в воздухе бутылкой.

— Выпьет,—ответил Зунделевич,—а вот мы тебе принесли сладкой, хорошей, не твоей зеленой чета.

Зунделевич вынул из кармана бутылку с какой-то красной жидкостью и затейливым ярлыком; незаметно выплеснув водку из стакана Стефановича, он налил туда дрянной наливки и подал солдату.

— Теперь пусть пьет его жена,—сказал солдат, указывая на меня.

— Нет,—поспешил вмешаться Зунделевич,—она больна и не пьет.

Солдат не настаивал, а, укоризненно посмотрев на меня, сам осушил стакан до дна, всасывая жидкость с каким-то присвистом.

— Ну, ступайте,—махнул он нам рукой и, обняв обе бутылки, грузно сел на скамью у стола. Мы вышли и благополучно миновали все три пограничных кордона, для чего пришлось пройти еще версту или две пешком.

Мы были наконец на настоящей русской земле, вне пограничной охраны.

Проводив нас на поезд, Зунделевич вернулся обратно, чтобы завтра переправить таким способом В. Засулич и Дейча, что удалось ему так же благополучно. Одного он не сделал, о чем я очень жалела, да и он сам жалел: он так и не переправил моей рукописи; он поручил ее там кому-то, рассчитывая скоро еще проехать и тогда взять ее. Но этого не случилось, и рукопись, которую я писала под свежим впечатлением пережитого, так и пропала. Для меня она была живою памятью прошлого, последней данью погибшим товарищам (сурово осужденным по процессу 50-ти), у которых, кроме меня, никого близкого не было в то время на воле. Но Зунделевич, естественно, думал тогда о живых.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Приезд мой и Стефановича в Петербург. Через сутки мы, то-есть я и Стефанович, были уже в Петербурге и без труда разыскали товарищей, которые почти все в это летнее время (конец июня 1879 г.) проживали в Лесном. Однако в момент нашего приезда они почти все были в провинции. На квартире в Лесном мы застали тогда только Софью Иванову [90], осужденную по делу демонстрации 6 декабря и бежавшую недавно из Архангельской губернии. Она передала мне запечатанный конверт, оставленный для меня Морозовым; в конверте была записка, где говорилось без объяснений: «Если приедешь до 17 июня, то приезжай сейчас же в Липецк и жди в такие-то часы в парке; если придешь после 17 и до 24, то поезжай в Воронеж и жди там-то». Я опоздала, кажется, одним днем, приехала 24-го и не могла попасть не только в Липецк, но и в Воронеж. Пришлось остаться в Лесном, где для меня, неподалеку от квартиры Софьи Ивановой и Квятковского [91], была нанята комната. Стефанович у кого-то остановился и вскоре нанял себе комнату также в Лесном. Дня через два—три стали съезжаться все бывшие на съездах.

Приезд участников Липецкого и Воронежского съездов и других в Петербург. Приехали Квятковский, Морозов, Желябов [92], Алекс. Михайлов, Фроленко [93], Ширяев [94], Баранников, Ошанина [95] и другие. Лесной оживился.

Ф. Юрковский («Сашка-инженер» [96]). Скоро приехали также Попов [97] (Родионыч), Щедрин [98], Е. Ковальская [99] и другие, а через некоторое время и Юрковский, устроивший незадолго дело Херсонского казначейства, независимо от организации «Земля и Воля», к которой он не принадлежал. Узнав о грандиозном захвате денег компанией Юрковского и об их критическом положении, Зунделевич спешно поехал на юг в надежде помочь им укрыться, но на утро Алешки, так на-

зывалось местечко, где они укрывались, были оцеплены войсками: деньги были все захвачены [100]; Юрковский едва-едва успел спастись сам и привез в Петербург только одну десятирублевку из денег, взятых в Херсонском казначействе, которую долго хранили потом, как достопримечательность. Приехав в Петербург, Юрковский посещал очень многих и раз чуть было не попался в руки полиции за то, что вскочил на ходу в поезд, проходивший из Удельной в Лесной; он отделался дешево благодаря бывшим при нем документам, но почему-то скоро уехал и затем был арестован. Юрковский был человек очень оригинальный и крупный по энергии, но у него был один недостаток: он пил; это так редко наблюдалось в революционной среде, что нельзя его не отметить, как исключение.

Окончательное распадение «Земли и Воли». При приезде вышеназванных лиц, в Лесном под открытым небом несколько раз собирались члены вновь сформировавшегося на Липецком съезде Исполнительного Комитета отдельно и отклонившиеся члены былой организации «Земли и Воли» отдельно. Стефанович вел очень деятельные переговоры между теми и другими, и многие надеялись, что он поможет сплочению и предотвратит готовящийся раскол, но надежды эти не оправдались; напротив, некоторые обвиняли даже, что Стефанович подлил масла в огонь, ускорил окончательный разрыв. Когда после других в Петербург приехала С. Перовская, страстно желавшая повлиять примирительно, то уже было совсем поздно: разрыв совершился окончательно, и вчерашние товарищи стали сторониться друг друга, как чужие. Каждая партия пошла своей дорогой. Стефанович стал главою мертворожденной организации «Черный Передел»; с ним остались и его друзья—Вера Засулич и Дейч. Я примкнула, естественно, к липецким товарищам, которые даже заочно были в этом уверены, приглашая меня на Липецкий съезд. Но и Перовская, по принципу еще горячая народница, не примкнула к «Черному Переделу»,—она пошла с теми, кто обнажил меч на защиту народа и его апостолов. К ним же, то-есть к Исполнительному Комитету «Народной Воли», примкнула и Вера Фигнер (Филиппова), другая горячая народница, только-что работавшая в одном из поселений «деревенщиков», созданных первым составом организации «Земля и Воля» в некоторых местах России, а также Якимова [101] и Софья Иванова.

«Черный Передел». Разрыв «Черного Передела» с Исполнительным Комитетом «Народной Воли» можно объяснить в общем не столько принципами, сколько темпераментами. Так, хотя большинство примкнувших к «Черному Переделу» старых

членов «Земли и Воли» занималось почти исключительно культурной мирной деятельностью, в программу этой организации входило все-таки и бунтарство, или — как раньше называли на севере — вспышкопускательство; следовательно, в идее насилие им не было чуждо. Мало того, люди, примкнувшие к «Черному Переделу», не только оправдывали насильственные действия по отношению к властям, но —чего народовольцы не допускали — обман по отношению к массам, вовлекаемым в бунт.

Конечно, люди таких взглядов не должны были бы возмущаться систематической борьбой с правительством и цареубийством, как насилием. И сама ссылка на то, что цареубийство обостряет реакцию, тоже не существенна; ведь землевольцы и их преемники, чернопередельцы, не боялись же обострить реакцию, ставя в программу мелкие бунты, хотя она в этих случаях неизбежна именно в народе, тогда как цареубийство отражается главным образом в городах. Этот общий недостаток идейного оправдания раскола, созданного «Черным Переделом», чувствовали даже лица, оставшиеся в его рядах; так, О. Аптекман [102] тогда же в своем открытом письме прямо указал на это и увещевал товарищей объединиться вновь. Через два года сам Стефанович сознал свою ошибку, но было поздно: «Народная Воля» потеряла тогда лучшие, самые крупные и опытные силы свои; «Черный Передел» был бессилен влить новую жизнь в остатки когда-то мощной организации Исполнительного Комитета «Народной Воли», ему самому недоставало этой жизни. В самом деле, в конце 1879 и начале 1880 г. «Черный Передел» не оставил заметных следов своей деятельности в народе, потому что такая деятельность в широких размерах была невозможна, и раньше он не прибавил многого к тем семенам революционного социализма в рабочей среде, которые заложены были деятелями процессов 50-ти, 193-х, Долгушина и других, более мелких, а отчасти даже народовольцами. Типография «Земли и Воли», которую с такой любовью помогал устраивать Сергей Кравчинский, и которая содержалась такой опытной и преданной делу хозяйкой, как М. К. Крылова [103], типография, целый год изумлявшая всю Россию свободным выходом подпольной «Земли и Воли» в самом Петербурге, уступленная «Черному Переделу» очень скоро погибла в его руках и после ряда различных неудач Стефанович; Дейч, Плеханов и Вера Засулич уехали обратно за границу.

Организация «Черный Передел», объясняя свои неудачи, жаловалась на «Народную Волю», парализовавшую будто бы ее деятельность; напротив, единоборство «Народной Воли» с правительством, приковывая к себе все взоры, явилось как бы при-

крытием для чернопередельцев. Сравнивая «Черный Передел» с «Народной Волей», правительство стало считать его в то время совсем мирной партией и слабее преследовало его, и она погибла скорее от собственного истощения, тогда как народовольцы погибли все, что называется, с оружием в руках, в последних схватках с правительством.

Перекочевав за границу, некоторые крупные представители «Черного Передела»,—как Плеханов, Дейч и другие,—выступили там в качестве марксистов и социал-демократов и, оставаясь на свободе, вели книжную пропаганду в России.

Постановление приговора Александру II. Летом 1879 года прошел месяц и даже больше в бесплодных переговорах с зарождающимся «Черным Переделом» в надежде воссоединить вновь распавшуюся организацию «Земля и Воля». Эти переговоры не мешали, однако, Исполнительному Комитету «Народной Воли» итти своей дорогой. Так, на одном из собраний Исполнительного Комитета, происходившем под открытым небом в Лесном и где присутствовал между прочим приехавший на один, на два дня в Петербург Гольденберг [104], и о котором он почему-то умалчивает в своих показаниях, был поставлен вопрос: следует ли продолжать намеченные предприятия против генерал-губернаторов, или же сосредоточить все свои силы на одном лице государя? Решено было все удары направить на последнего... Эту задачу фактически и осуществляли вплоть до 1 марта 1881 г.

Когда это решение состоялось, большинство стало разъезжаться на дело, посвятив предварительно несколько дней на обсуждение основных положений программы. Исполнительного Комитета. К сожалению, у собравшихся не было достаточно свободного времени, чтобы окончательно закончить и оформить эту программу, хотя все понимали, что программа—знамя, и что только она одна на смену погибавших может собрать новых борцов. Но сил было еще так много, практические задачи так настоятельны, и, наконец, сама программа была уже достаточно намечена на Липецком съезде, что никто не думал, что обстоятельства так скоро изменят ее. Кроме того, все еще были под впечатлением недавнего раскола в «Земле и Воле» и так рады были тесному единению на практической задаче, которая требовала богатырских усилий, что немногие задумывались о будущем, о необходимости заранее крепко поставить свое знамя, чтобы оно, как маяк, светило будущим поколениям.

Петербург понемногу пустел: уехал Ширяев, уехал Баранников, уехал Желябов, Перовская и другие, кто в Москву, кто на юг для выполнения той задачи, которая поставлена была по-

следним решающим собранием в Лесном. В Петербурге остались те, кто был занят литературным, типографским или динамитным делом.

Редакция газеты «Народная Воля»[105]. Морозов, счастливый тем, что ему вместе с Михайловым и другими удалось провести на Липецком съезде более активную программу действий, весь отдался широким замыслам и работал с изумительной энергией. Каждый день с утра он спешил в Петербург, целыми днями бегал по городу и, как редактор будущей «Народной Воли», собирал рукописи, материалы для хроники и разные другие необходимые для газеты документы, помогая вместе с Квятковским устраивать новую типографию (старая была уступлена «Черному Переделу»), только-что привезенную Зунделевичем из-за границы. Нужно заметить, что первые номера «Народной Воли», отличавшиеся замечательным разнообразием и оригинальностью содержания, обязаны этим достоинством главным образом Морозову, его неутомимому труду редактора, труду, который поглощал почти все его время и мешал собственной литературной работе. Труд приема и редактирования рукописей весь почти лежал на нем, и только в отсутствие его, во второй половине ноября 1879 года, рукописи собирали другие.

Лев Тихомиров. Другой редактор «Народной Воли», Лев Тихомиров, недавно вернувшийся в Петербург, был тяжел на подъем и предпочитал отдавать свое время только кабинетной работе, выглаживая свою первую передовую статью и несколько раз переиначивая ее, после очень тщательной фильтровки по указанию Морозова и других товарищей, что ему было, конечно, и неприятно, и тяжело. Нужно сказать, что хотя Тихомиров обладал недюжинным литературным талантом, теоретические взгляды его были очень шатки,—они не имели ярко определенной чеканки. Он искал всегда вдохновения извне, но, как человек самолюбивый, искал этого вдохновения не в той сфере, где он вращался ежедневно, хорошо понимая, что такая идейная неустойчивость могла повредить его престижу, но там, где он был гостем.

Вообще в нашей среде Тихомиров уклонялся формулировать свои взгляды. Раз помню, однако,—это было у Ошаниной, примыкавшей раньше к якобинствующему кружку набатовцев («Набат»[106] издавался нечаевцем Ткачевым за границей), но по выходе замуж за Баранникова (под именем Кошурникова) примкнувшей на Липецком съезде к нарождавшейся «Народной Воле»,—Тихомиров сидел у нее и кого-то ждал; у меня тоже было там дело. Завязался разговор, говорили о народе, о тер-

роре, о революционных перспективах вообще. Тихомиров, помню, был почему-то необычно сообщителен в этот день и сказал в разговоре:

— Я не верю вообще в успех революционного дела.

— Почему же в таком случае вы работаете в революционном кругу? — спросила я.

— А потому, что в нем мои старые товарищи,—был ответ.

В нашей среде Л. Тихомирова звали «стариком». И в самом деле, этот худой, с бритым, ради конспирации, по-департаментски подбородком и английскими баками человек, с маленькими серыми глазами и полинялыми жидкими волосами, казался стариком, хотя ему вряд ли было за тридцать, и, глядя на него в эту минуту, мне было бесконечно его жаль с его опустелой душой. Впоследствии, когда я коротала дни в бессрочной ссылке на берегах Лены, по Сибири разнесся слух, что Тихомиров просил пощады у правительства и вернулся в Россию с семьей. Я знала, что он не лгал ради самосохранения; я знала, что он давно молчаливо носил нравственную смерть в своей душе, но я знала также, что если он купил себе свободу ценою своего личного достояния, ценою своего имени, то вверенные его чести свобода и жизнь товарищей не войдут в эту цену, не пострадают. Я знала, что Тихомиров не может быть ни Гольденбергом, ни Дегаевым [107], и не ошиблась. А сколько мог бы он вернуть из административной ссылки если не на эшафот, как Дегаев вернул барона Штромберга, то в каторжную тюрьму... История все-таки это должна знать, помнить и быть справедливой... Горше доли, как доля Тихомирова, придумать трудно...

Андрей Желябов. Совсем другой тип представлял собою Желябов. Это был характер, и характер сильный. Встреча моя с ним в Лесном и Петербурге была не первой встречей; я знала его еще в 1875 году в Одессе, где он жил тогда, отпущенный на поруки после дознания по делу, получившему наименование процесса 193-х. Мы встречались тогда изредка—за ним могли следить—и обменивались подпольной литературой. Иногда он заглядывал в переплетную Эйтнера, где я одно время жила и где собирались иногда члены Южно-русского рабочего союза (Заславского [108]). Но все это было урывками. Теперь (летом 1879 г.) я встретилась с ним уже не мельком, а как с товарищем по организации, которого мне так восторженно рекомендовали многие. Действительно, Желябов словно вырос за это время отдыха; в самом деле, он возмужал и умственно и физически. Это был высокий, стройный брюнет с бледным лицом, прекрасной окладистой темной бородой, большим лбом и выразительными глазами [109]. Речь его была горяча и порывиста, го-

лос приятный и сильный; в нем были все задатки народного трибуна, но в нем не чувствовалось той глубины проникновения в душу человеческую, какая присуща была в такой высокой мере Сергею Кравчинскому и Валерьяну Осинскому. Может быть, ему недоставало этого потому, что в то время Желябов еще мало страдал; но и его страдания были близки, очень близки, и ему пришлось их выпить полную чашу до дна. В описываемую же минуту все существо его было проникнуто каким-то радостным светом и великой надеждой. Его возмущал разрыв чернопередельцев, ссылавшихся на то, что террористическая борьба с правительством, принятая, как система, на Липецком съезде, повредит будто бы деятельности в народе.

— Я покажу им, что они просто не хотят действовать; я покажу, что «Народная Воля», занятая борьбой с правительством, будет работать и в народе.

И действительно, Желябов сумел организовать рабочие боевые дружины в такое время, когда большая доля его энергии была посвящена захватывающей борьбе с правительством. Но на это нужна было именно его энергия, а такая энергия присуща очень немногим.

Такой же непоколебимой верой и любовью к простому люду была проникнута и Перовская.

С. Перовская, как террористка. Еще вся потрясенная бесплодными усилиями, потраченными на сношения с заключенными центральной харьковской тюрьмы, где томились еще товарищи и в их числе обоготворяемый ею сын народа и крупный оратор Мышкин, бессильная вырвать их на свободу, разобщенная полицейскими насилиями с народом, которому она отдала всю душу, которому несла мирное слово свободы и правды, она вся отдалась теперь борьбе, предпринятой ее товарищами против государя, как верховного вершителя невзгод всей России. Когда Желябов отправлялся для этой цели на юг, она первая предложила себя в хозяйки домика на полотне железной дороги в Москве, где во второй половине ноября 1879 г. ожидался приезд государя, и бестрепетной рукой дала сигнал сомкнуть электрическую цепь. Вернувшись через несколько дней в Петербург, прямо с вокзала она пришла, помню, на одну из конспиративных квартир партии. В эту минуту там были я, Геся Гельфман [110], осужденная по процессу 50-ти и только-что бежавшая из ссылки, и Грачевский [111], принадлежавший к организации лиц, судившихся по процессу 50-ти, но осужденный по процессу 193-х и также недавно бежавший из ссылки.

Перовская была вообще крайне сдержанна, но когда она осталась одна с нами, женщинами, она, вся взволнованная, то-

ропливо, прерывающимся голосом, стоя с намыленными руками перед умывальником, стала рассказывать, как она из-за мелкой заросли высматривала поезд; она говорила также, что динамита оказалось мало, так как очень много ушло на предприятие на юге, и сожалела, что не сосредоточили его в Москве. Когда она говорила все это, ее лицо дышало глубоким страданием, и она вся дрожала,—то ли от холода, охватывавшего ее обнаженные мокрые руки, или от тяжелого чувства неудачи и долго сдерживаемого волнения,—и мне нечем было утешить ее. Я чувствовала также, что эта неудача возьмет не мало жертв из нашей среды, и не ошиблась.

Арест Квятковского. На другой день после описанной встречи утром к нам, то-есть на квартиру, которую я занимала с Морозовым (на Знаменской площади), приходит С. Перовская и торопливо сообщает, что сейчас бежит предупредить Квятковского, так как узнала, что у него сегодня будет обыск,—а может быть и был уже,—с грустью прибавляет она. Я вызвалась сама пойти вместо нее, но она упорствовала, и Морозов сказал, что он сейчас сбегает к М. Н. Ошаниной, жившей тут же близко на Николаевской и тогда еще ни в чем раньше не привлекавшейся и незапятнанной перед жандармами, и пошлет ее к Квятковскому. Пока Морозов ходил к ней, мы с Перовской остались дома; мы обе волновались, разговор не клеился. Квятковский был одним из наиболее симпатичных и деятельных товарищей наших, это была бы очень крупная, незаменимая потеря для дела. Сгорая нетерпением и зная, что каждая секунда грозит гибелью не одному Квятковскому, но многим, я молча надела шляпу и сказала Перовской, что еду к Квятковскому, и быстро вышла, не позволив ей остановить меня. Я поручила ей только сказать Морозову, чтобы он на всякий случай очистил нашу квартиру от всего нелегального и сам ушел бы из нее.

Засада в квартире Квятковского и мой арест в ней. Когда я вошла на лестницу дома, где жил Квятковский, я тщательно огляделась кругом, но ничего подозрительного не нашла; со двора знака не было видно, но сильно замерзшие стекла мешали его разглядеть. Я позвонила, дверь слишком поспешно отперли: передо мной стояла осанистая фигура старшего городового.

— Я, кажется, ошиблась,—проговорила я,—мне сказали, что здесь живет портниха.

— Нет, сударыня, портниха живет не здесь, а напротив; заходите, заходите,—настойчиво приглашал он.

Я уверяла, что я ошиблась, что мне здесь делать нечего, но городовой стоял на своем; пришлось повиноваться. Он ввел

меня в комнату, занимавшуюся Евгенией Фигнер [112]; комната эта представляла полную картину погрома; все было перевернуто вверх дном; на кровати валялись частью связанные, частью разбросанные кипы последнего (2-го) номера «Народной Воли».

В квартире ни Евгении Фигнер, ни Квятковского уже не было, только на звук моего голоса из двери кухни выглянуло миловидное молодое лицо прислуги Квятковского, простой деревенской придурковатой, но очень хорошей бабенки. Городовой грубо толкнул ее назад в кухню и тем, быть может, избавил меня от немедленного признания ею за хорошую знакомую ее хозяев. Проходя мимо открытой двери приемной, куда в первую минуту хотел было ввести меня городовой, а потом раздумал, я увидела, что в ней и в прилегавшем кабинете Квятковского все также было перерыто; кое-где валялись какие-то медные цилиндры, свертки проволоки и прочее, а также много кип того же номера «Народной Воли». Несколько минут я послушно сидела в комнате Фигнер, чтобы не раздражать городового, потом я стала жалобно просить его отпустить меня домой, иначе муж мой очень де рассердится и, пожалуй, побьет меня. Городовой скоро смилостивился и повел меня, но не домой, а в участок.

Когда мы спускались с лестницы, на нее поднималась Ошанина. Я безмолвно пропустила ее мимо, не здороваясь, и только проводила ее взглядом, когда она подымалась по лестнице выше квартиры Квятковского; очевидно, видя меня в обществе городового, она поняла все и не зашла к Квятковскому, и, следовательно, поспешит сейчас же предупредить Морозова и других товарищей. Это придало мне новые силы.

Я решила подольше поводить полицию, прежде чем указать свою квартиру, где, я знала, ничего уже не найдут и, может быть, освободят меня. В участке, куда меня привел городовой, я сделала вид, что до того взволнована, что ничего не в силах понимать, ни куда итти. Околоточный резко обошелся со мною, но дал час времени обдумать и сказать свой адрес. Я осталась в холодной пустой канцелярии и, забравшись в угол деревянного дивана, действительно думала свою тяжелую думу.

Мне было тяжело потерять свободу, купленную такой дорогой ценой, и потерять так случайно, не на прямом деле; я не хотела мириться с этим. Меня сильно заботила также мысль о Морозове, которому я моей торопливостью причинила, конечно, большое горе. Но я ни минуты не могла допустить, чтобы этот человек, только-что рисковавший своей головой, работая в московском подкопе, остался целый день дожидаться меня в нашей квартире, зная, куда я ушла, зная, наконец, от Ошаниной,

что я арестована. Но все же, хотя прошло часа три с моего выхода из дому, я медлила указать адрес, и когда околоточный по истечении часа пришел ко мне с угрозами сейчас же заточить в Петропавловскую крепость, я указала адрес, но не свой, а первый пришедший на ум, совсем в другой части города. Меня повезли сначала в эту новую часть, откомандировав новый состав полицейского конвоя, на что потребовалось время, доставили, наконец, к указанному мною дому. В названной мною квартире на мое счастье проживал, оказывается, какой-то генерал, хотя адрес, данный мною, был совершенно вымышленный.

Полиция замялась, а я, с своей стороны, стала умолять не беспокоиться, говорила, что из страха к мужу я обманула их и разыграла перед моими провожатыми сцену тяжелого нервного припадка.

Околоточный растерялся и повез меня обратно в часть, где снова я получила отсрочку для отдыха с формальным приказанием быть готовой к 6 часам вечера, чтобы в последний раз ехать со мной на квартиру или же прямо в тюрьму.

И в самом деле, я нуждалась в отдыхе; вся эта комедия, разыгрываемая целый день под гнетом тяжелых дум о погибших товарищах, о горе тех, кто еще остался свободен,—все это так истомило меня физически, что я едва волочила ноги. Но мне предстояла еще последняя и самая решительная схватка.

Когда пробило 6 часов вечера, то-есть, когда прошло по меньшей мере часов семь с момента моего ареста, я, наконец, сообщила адрес дома, где жила, сказав, что фамилию сообщу, когда подъедем к дому, так как мне не хочется, чтобы предупредили мужа раньше, чем он сам меня увидит. Околоточный согласился.

Мы ехали почти целый час из Измайловского полка, где мы были, в Александровскую часть; тут опять прошло некоторое время, пока назначили новый штат полицейских конвойных, и, наконец, мы подъехали к дому, где я жила.

Взглянув в окно, вижу, что знака нет, следовательно, квартира очищена, но я с тяжелым чувством поднималась на лестницу. Околоточный торопит.

— Где же, где?—спрашивает он.

Вот мы, наконец, перед нашей дверью, я позвонила; дверь сейчас же отворилась, и на пороге я, к ужасу моему, вижу Морозова. Я чуть не упала, но мгновенно собрала последние силы, овладела собой, бросилась к нему, как взволнованная жена, и стала просить его не сердиться за мое позднее возвращение в таком обществе, объясняя, что я надеялась упросить полицию отпустить меня, и потому долго не возвращалась. Морозов

также очень хорошо сыграл свою роль, взволнованно спрашивая:

— Как же это ты, что с тобой случилось, где ты была?

— Вашу жену арестовали на квартире московских взрывателей,—заявил ему околоточный,—и вы извините нас, конечно: нам придется у вас сделать обыск.

— Сделайте одолжение,—сказал Морозов и ввел в квартиру,—но это невероятно, как могло это случиться,—как бы про себя твердил он.

Я объясняла ему, что ошиблась дверью к портнихе. Морозов шепнул мне:

— Не беспокойся, я был предупрежден Ошаниной и нарочно остался.

Начался обыск; все тщательно перерыли в обеих наших комнатах, но, конечно, ничего не нашли. Закончив обыск, они сказали Морозову:

— Прислуга ваша свободна и может выходить куда угодно, но вас и супругу вашу мы должны подвергнуть домашнему аресту, пока выяснится, как попала она туда, где ее арестовали.

Морозов заявил, что ему выходить пока нет надобности, и полиция ушла, оставив для охраны одного городового в нашем коридоре.

V Побег мой и Морозова из-под домашнего ареста. В комнатах мы были одни и стали спешно советоваться, как бы вырваться из этого опасного плена. План сейчас же был найден. Мы позвали к себе хозяйку, от которой нанимали комнату, и попросили ее позвать в кухню городового и напоить его чаем. Соблазн для городового, только-что пришедшего с холоду, был велик, и после минутного колебания он последовал за хозяйкой, а мы под шум звяканья посуды и некоторой суеты, поднятой гостеприимной хозяйкой, накинув летние пальто и тихо отперев дверь, поспешно спустились по лестнице во двор, проскользнули мимо дворника, как прислуга, выбегающая в лавочку, и очутились на улице. Покружив по Гончарной и Невскому, мы выбрались на Пески, а оттуда уже на извозчике на Николаевскую в квартиру М. Н. Ошаниной.

Николай Саблин. Велико было изумление всех, кого мы там застали. М. Н. Ошанина бросилась ко мне и спросила:

— Как, вы свободны? Неужели и Квятковский свободен?

Мне пришлось разочаровать ее; я описала картину погрома квартиры Квятковского и наскоро рассказала дальнейшую историю дня, мою одиссею по участкам, самоотверженный поступок Морозова и наше спасение. Этот рассказ, прислонив-

шись спиною к камину, молча слушал Саблин, старый товарищ Морозова еще с эпохи пропаганды в народе, обладавший, как и Морозов, крупным поэтическим талантом.

— О, дружба,—воскликнул он,—велика твоя сила,—и опять замолк и нахмурился, словно думая какую-то думу.

В эту минуту серьезное, уже не юношеское, гладко выбритое ради конспирации лицо Саблина напоминало почтенного католического патера; так мы и звали иногда в шутку этого в сущности жизнерадостного и обыкновенно веселого человека. Но кто знает, может быть, перед его внутренним взором, как бессознательное видение, пронеслось в эту минуту предчувствие собственной судьбы. Год с чем-то спустя, подобно Квятковскому, тогда уже казненному, Саблин был арестован вместе с Гесей Гельфман на конспиративной квартире (после 1 марта) и, хорошо зная предстоящую ему участь, пустил себе пулю в висок, не желая проделывать неизбежную трагикомедию суда и казни... Это была моя последняя встреча с Саблиным.

В типографии «Народной Воли». [Наш арест и побег, из обязательной для всех осторожности, принудили меня и Морозова некоторое время не показываться на улице: одним словом, нам пришлось подвергнуться карантину, а так как лучшего места для карантина не было, как квартира типографии «Народной Воли», откуда почти никто не выходил и куда заходил самое большее один из товарищей раз или два в неделю, то мы, не теряя ни минуты, в тот же вечер отправились в типографию. Все встретили нас там с распростертыми объятиями, так истомились они своим затворничеством, так редки были там гости.]

Николай Бух,[113] Софья Иванова, Л. Цуккерман,[114] «Птичка»[115] и М. Грязнова[116] Хозяином и хозяйкой типографии были Николай Бух и Софья Иванова, а работали там, кроме них, знакомый мне по загранице Лейзер Цуккерман и другой рабочий, по прозвищу «Птичка»* (за его высокий, тонкий, как бы птичий голос), и в качестве номинальной прислуги М. В. Грязнова, перешедшая сюда вместе с Птичкой по наследству из старой типографии «Земли и Воли». Собственно более живыми и сообщительными членами этой типографской артели были последние трое.

Софью Иванову я знала давно, еще со времени общего сидения в Доме предварительного заключения в 1876—1877 годах. Она была вообще довольно живого и веселого характера, но в описываемое время (конец ноября 1879 г.) она переживала тя-

* Рабочий Лубкин.

желое личное горе и была не совсем здорова, так что она казалась молчаливой и грустной.

Николай Бух, ее номинальный супруг по квартире, был человек вообще крайне замкнутый; раньше я встречалась с ним несколько раз на общих товарищеских собраниях, он бывал несколько раз по делу и у нас с Морозовым на квартире, где происходили первое время редакционные собрания, а также и другие деловые встречи.

Кибальчич. Там у нас бывал Кибальчич[117], Богородский (через которого велись сношения с крепостью) и другие, но молчаливее Буха я не помню никого, разве Кибальчича, которому иногда приходилось, бывало, оставаться у нас по часу и больше, дожидая кого-нибудь; но он всегда был так поглощен какой-то думой, что не было ни малейшей возможности расшевелить его, заставить разговориться. На самые простые вопросы он отвечал рассеянно, часто невпопад, и, побившись с ним минут десять-двадцать, я оставляла его одного «считать звезды», а сама уходила к себе в комнату. Его не только не занимал разговор, но не занимали также газеты и журналы, лежавшие обыкновенно на столе: он никогда их не развертывал, не трогал, а сидел всегда молча и о чем-то думал. Таким же почти был и Бух, но с ним мне всегда приходилось встречаться в обществе других, и его молчаливость не так бросалась в глаза.

Наиболее сообщительным из всех, проживавших в типографии «Народной Воли», был Лейзер Цуккерман. Это был настоящий типографский работник, работавший раньше в заграничных русских типографиях в Женеве и специально привезенный Зунделевичем для «Народной Воли» из-за границы.

Когда, бывало, вечером работа кончалась, и все собирались в довольно просторной задней комнате за вечерней закуской и самоваром, Лейзер шутил и смеялся, чаще всего изображая сцены из жизни простого еврейства, пересыпая русские фразы еврейскими. Соль его рассказов больше всех, казалось ему, оценивала я, так как я встречала евреев за границей, и, благодаря привычке к немецкому языку, ухо мое легче улавливало смысл еврейского жаргона, очень близкого к простонародному немецкому. Это случайное обстоятельство сближало нас; Цуккерман видел во мне самого близкого ему товарища, и иногда в свободные минуты, когда мы заняты бывали фальцовкой уже отпечатанных листов (кроме 3-го номера «Народной Воли» в это время набиралось еще бесцензурное издание некрасовского «Пир на весь мир»), Цуккерман знакомил меня, напевая вполголоса, с древними заунывными напевами, которым я старалась

подражать к великой его радости, или рассказывал различные эпизоды из жизни Иисуса Христа, как рисует его Талмуд [118] в его отношениях к богоматери; это были подробности, незнакомые обычной христианской истории; Цуккерман, раньше чем отдаться делу революционной печати, готовился быть раввином. Он прошел полный курс высшей еврейской школы, сотрудничал в еврейской газете, издававшейся на древнееврейском языке в Берлине, и помещал там, как мне говорили, прекрасные, талантливые стихи. Его внешность, его манера держать себя не давали, однако, возможности сразу оценить его при поверхностном знакомстве. Его привычка шутить над самим собой как бы умаляла в других уважение к нему, и я знавала людей, которых он прямо шокировал. Между тем, под этой мало импонирующей внешностью жила прекрасная, чуткая поэтическая душа, готовая на беззаветное самоотречение. Как назвать, в самом деле, его приезд из-за границы в Петербург, где у него, кроме Зунделевича, очень скоро арестованного, не было ни одной знакомой души, где прямо с вокзала он запер себя в типографию «Народной Воли», откуда только по четвергам, во время прихода полотеров, его отправляли на прогулку, да и то он не знал, как убить это время, бесцельно бродя по незнакомым ему улицам. Он сам признавался мне, что чувствовал себя на улицах Петербурга, как в пустыне. Он не думал еще в то время, как близок час, когда, после многолетних мытарств по тюрьмам, судьба забросит его в другую, уже настоящую пустыню — в Якутскую область, где ему суждено было найти свою безвременную могилу в волнах негостеприимной Лены. Попав в Якутскую область, после Карийской каторжной тюрьмы, Цуккерман первой же весной покончил с собой, бросившись в реку. Так кончила жизнь эта прекрасная одинокая душа, беззаветно искавшая правды, только правды.

Другой его сотоварищ по работе в типографии «Народной Воли», Птичка, был убит при сопротивлении во время обыска в этой типографии (в Саперном переулке). Выше среднего роста, худой, с тонкой шеей и едва пробивающимися усами, он казался очень молодым, хотя на самом деле ему было не менее 25 лет; он вышел из рабочих и принадлежал к типу скромных, но отважных тружеников, которым сознание осуществляемого ими великого дела свободы давало нечеловеческие силы нести добровольно безотрадное затворничество. Птичка и Л. Цуккерман жили безвыходно в типографии не прописанными, а потому из осторожности обречены были на полное затворничество. Напротив, хозяин и хозяйка квартиры могли свободно выходить; так, Софья Иванова нередко бывала в квартире Квятковского,

а также у меня с Морозовым и у других товарищей, но этим правом и они старались пользоваться по возможности редко и вели с виду самый скромный образ жизни средней чиновничьей семьи.

Пятый член типографской семьи, М. В. Грязнова, молодая девушка лет 24, из простой мещанской семьи, взяла на себя роль прислуги. Это была ее роль, так сказать, официальная, перед дворником, на самом же деле она предпочитала так или иначе работать вместе с другими в печатном деле, смазывая краской шрифт в станке или накладывая на шрифт смоченные листы бумаги, прокатывая их валиком, но не стряпать в кухне, чего она очень не любила. Это была девушка с хорошим, верным сердцем, но очень болезненно нервная; в ней подмечали также ложный стыд за свою малообразованность и гордость человека, терпевшего унижение не раз в жизни. Эта девушка оставила во мне глубокое впечатление. Она страдала, и страдала вдвойне. В описываемую минуту нас были три женщины в типографии: С. Иванова, Грязнова и я, так что общими усилиями у нас обед стряпался почти незаметно, и, когда часа в три на столе появлялась большая медная кастрюля с дымящимися щами или каким-нибудь супом, все весело бросали работу и спешили к столу. Иногда, кроме супа, бывало и второе мясное блюдо, но не всегда; иногда же в каких-нибудь особых случаях — удачно законченного печатного листа, или каких-нибудь добрых вестей из города — на столе появлялась и небольшая бутылка английской водки, почему-то непременно желудочной английской, которую пили желающие по небольшой рюмке. Беседа за столом почти всегда была оживленная, нередко веселая и шумливая; несмотря на затворничество, у каждого было что рассказать, и часы отдыха пролетали незаметно. Почти всегда первым вставал из-за стола и принимался за работу неизменно молчаливый Бух, за ним и другие. Несмотря на положение невольных гостей, мы с Морозовым участвовали также в работах; я умела даже набирать, так как еще студенткой в Цюрихе участвовала вместе со всем нашим женским кружком (фритчей) в наборе первых номеров издававшегося П. Л. Лавровым [119] журнала «Вперед» [120].

П р о г р а м м а И с п о л н и т е л ь н о г о К о м и т е т а. В описываемую минуту шел набор 3-го номера «Народной Воли», где должна была выйти программа Исполнительного Комитета «Народной Воли». После Липецкого съезда, где были намечены основные положения, программа эта, как я уже сказала, обсуждалась на нескольких заседаниях, происходивших в петербургской квартире Квятковского, хозяйкой которой была в то время

не Евгения Фигнер, не состоявшая членом организации, а Вера Фигнер (Филиппова), уехавшая после этих собраний на юг и поместившая на квартиру, вместо себя, сестру свою Евгению, которая и была впоследствии арестована с Квятковским.

[Базисом программы должны были оставаться положения[121], выработанные Морозовым, Михайловым и Квятковским на Липецком съезде, а здесь она подвергалась как бы второму чтению.] При обсуждении присутствовали тогда Тихомиров, Квятковский, Желябов, Фроленко, Зунделевич, Якимова, Баранников, Колодкевич[122], Ширяев, М. Н. Ошанина, Вера Фигнер, я и еще некоторые; каждый параграф возбуждал прения; разногласие происходило главным образом на почве вопроса о том, ставится ли главной целью Исполнительного Комитета «Народной Воли» дезорганизация правительства посредством партизанской террористической борьбы с ним, дабы таким образом принудить правительство предоставить самому народу свободно и беспрепятственно выразить свою волю (народную волю) и переустроить свою расшатавшуюся политическую и экономическую жизнь на новых, самим народом выношенных началах справедливости, равенства и свободы, или же, пользуясь тем же методом борьбы, названная организация должна стремиться сначала, путем политического заговора, захватить в свои руки власть, декретировать народу конституцию сверху и уже тогда вручить народу свою власть. Первая формулировка,—приблизительная, конечно: я пишу на память,—была принята на Липецком съезде; вторая была внесена в Петербурге главным образом Л. Тихомировым и Ошаниной.

Разногласия в Исполнительном Комитете, вызванные Тихомировым. И вот теперь, после Московского взрыва, после ареста Квятковского, после того как сношения между членами организации были крайне затруднены, когда стали уже известны предательские показания Гольденберга, сковавшие[123] свободу тех, кто раньше был скомпрометирован очень мало, Тихомиров вздумал, вместо созыва общего собрания, разнести, в своей формулировке, программу Исполнительного Комитета по домам сочленов и собрать таким образом голоса. Нужно сказать еще, что перед самым арестом Квятковского были приняты еще новые члены, как-то: Грачевский, Н. Оловенникова[124] (сестра Ошаниной), А. П. Корба[125] и другие, которые не присутствовали раньше при обсуждении программы[126], а следовательно не могли знать даже первоначальной формулировки Липецкого съезда. Занятые текущими настоятельными делами, товарищи давали свои голоса Тихомирову часто только по-товарищескому доверию. [Морозов, самый

горячий защитник Липецкой программы, в силу обстоятельств находившийся в типографском карантине, не мог, конечно, так же свободно видеться и говорить с товарищами, как Тихомиров, так что мы узнали о домашнем голосовании только post factum, когда Тихомиров заручился согласием большинства.] Такой прием с его стороны и Морозов, и я сочли неправильным и в нравственном отношении чреватым самоуправством, способным разложить товарищество и лишить его необходимого взаимного доверия. Меня в особенности удручала эта сторона дела; в этом я видела надвигающуюся гибель всего революционного дела и в этом смысле написала письмо к товарищам, которое успели прочесть очень многие. Вместе с тем якобинский оттенок, приданный Тихомировым программе Исполнительного Комитета, являлся как бы возрождением нечаевщины, как политической программы, давно потерявшей нравственный кредит в революционном мире и грозившей нравственной смертью всей организации и всему революционному движению. В самом деле, революционная идея только тогда животворна, когда она является антитезой всякого общественного, государственного или личного принуждения, царского или якобинского все равно. Узкий круг честолюбцев может, конечно, сменять одно насилие другим, одну власть другою; но ни народ, ни общество не пойдут за ним сознательно, а только сознательное движение вносит новые основы в жизнь.

Все эти соображения пришлось изложить уже после того, как программа была отдана в набор, а задержать ее выход — значило задержать весь номер; правильное же появление номера «Народной Воли» было, так сказать, равносильно появлению адмиральского флага на броненосце, знаменующего его готовность к бою. Все это Тихомиров брал, конечно, в расчет, уверенный, что нельзя не примириться с совершившимся фактом. Он ошибся только в одном: факт, конечно, нельзя было не признать, но этот факт не только дал неправильную окраску одному из наиболее ярких периодов революционной борьбы, но сообщил и ложное направление будущему (см. «Подготовительную работу партии «Народной Воли», составленную в начале 1880 г.) и гораздо больше, чем измена Гольденберга и правительственные погромы, расшатал внутри дружную семью людей [127], сошедшихся по свободному почину для борьбы на жизнь и смерть. Правда, по инерции люди шли неуклонно к главной, раньше намеченной цели (цареубийству), и 1 марта совершилось; но когда люди первого состава Исполнительного Комитета почти все погибли, приблизительно в одно время с этим последним мощным ударом, Комитет второго состава свершить

уже ничего не мог, несмотря на то, что приехавший летом 1881 г. из-за границы Стефанович объединил с Комитетом жалкие остатки «Черного Передела», несмотря на то, что в численном отношении людей было еще не мало [128].

Поступок Тихомирова был опротестован Морозовым и мною; нам обещали собрать общее собрание, и, чтобы не быть скованными условиями типографского быта, мы поспешили нанять себе по новому паспорту новую квартиру в другой части города, далеко от той, где жили раньше, и скоро распростились с обитателями Саперного переулка, с которыми так успели сжиться за три недели, проведенные там.

Мы переехали на новую квартиру незадолго до Рождества и после того еще два раза встретились все вместе с большинством бывших в Петербурге товарищей. Один раз это было на встрече нового года (1880 г.), устроенной на новой конспиративной квартире, нанятой после ареста Квятковского. Там были многие: Фроленко, Колодкевич, Желябов, Ал. Михайлов, Морозов, Грачевский, Ширяев, Исаев (Тихомирова не помню в этот день), Т. Лебедева [129], Якимова (Баска), Геся Гельфман, Перовская, Оловенникова и другие. Присутствовавшие избегали касаться недавно всплывших тяжелых, жгучих вопросов; мы перекидывались шутками, пели, разговаривали.

Особенно рельефно запала мне в память сцена приготовления жженки. На круглом столе посредине комнаты поставили чашу суповую, наполненную кусками сахара, лимона и специй, облитых ромом и вином. Когда ром зажгли и потушили свечи, картина получилась волшебная; трепетное пламя, то вспыхивая, то замирая, освещало суровые лица обступивших его мужчин; ближе всех к чаше стояли Колодкевич и Желябов; Морозов вынул свой кинжал, за ним другой, третий, их положили, скрестив, на чашу, и без предупреждения, по взаимному порыву, грянул могучий, торжественный напев известной гайдамацкой песни: «Гей не дивуйтесь, добрые люди, що на Украине повстанье».

Звуки песни ширились и росли, к ней приставали все новые и новые голоса, а трепетное пламя мерцало, вспыхивая красноватым отблеском, как бы закаляя оружие на борьбу и на смерть...

Когда жженка была готова, зажгли снова свечи и разлили по стаканам горячий напиток. Наступал 1880 год... Что сулил он собравшимся, что сулил он России?..

Когда пробило 12 часов, стали чокаться; кто жал соседу руку, кто обменивался товарищеским поцелуем; все пили за

свободу, за родину, все желали, чтобы эта чаша была последнею чашею неволи...

Кто-то предложил попробовать спиритическое гаданье; в одну минуту со смехом и шутками изготовили большой лист бумаги с четкими буквами, перевернули на нее блюдечко и сели за стол. Первым был вызван дух императора Николая I[130]; его спросили, какою смертью умрет его сын, Александр II[131]. Блюдечко долго неопределенно блуждало, и наконец получился странный ответ: от отравы... Этот ответ расхолодил всех, он показался лишенным всякого вероятия, так как некоторые из присутствующих знали, что готовится дворцовый взрыв, а всем вообще было известно, что яд не был тем оружием, которое употребляла бы организация Исполнительного Комитета «Народной Воли». Этот неудачный ответ расхолодил настроение, гаданье бросили. Кто-то запел опять какую-то малороссийскую песню, другие пробовали напевать революционную молитву польскую, еще кто-то—положенные на музыку стихи: «Я видел рабскую Россию перед святыней алтаря: гремя цепями, склонивши выю, она молилась за царя»... и, наконец, все вместе французскую Марсельезу. Пели не громко, с осторожностью, несмотря на общепринятый обычай на Руси весело и шумно встречать новый год.

Так прошел вечер. Пора было расходиться. Всем сразу выйти было опасно, а потому расходились по-двое и в одиночку, чтобы не привлечь внимания дворника, лежавшего, как обыкновенно, поперек калитки на улицу.

Через некоторое время после нового года собрались мы все еще один раз — это было уже деловое собрание; некоторых, не вступивших еще в члены организации, здесь не было (так, не было Геси Гельфман и Исаева). Письмо мое товарищам, посланное из типографии, в котором я высказывала опасение потерять нравственную связь между товарищами, если образ действий Тихомирова войдет в обычай, было прочитано некоторыми и произвело, как говорили мне, хорошее впечатление. Хотя программа была уже напечатана, но на очередь поставлено было все-таки обсуждение ее. Предстояло также переизбрать некоторых членов Распорядительной Комиссии. Во время дебатов Тихомиров уклонился от прямого ответа по вопросу о якобинизме (о захвате власти и декретировании сверху). Морозов потребовал поставить на баллотировку признание Липецкой программы обязательной для организации, как программы, принятой не келейно, а свободно. Эта постановка вопроса, в виду совершившегося факта домашнего принятия программы в тихомировской формулировке, была, конечно, безнадежна, но Мо-

розов, высоко ценя идейную сторону революционного движения, считал своей нравственной обязанностью это сделать; и когда из собравшихся значительное большинство, признавая в душе всю некорректность тихомировского поступка, стало все-таки на сторону совершившегося факта, Морозов заявил, что он считает себя свободным от обязательства защищать такую программу в публике.

Я, со своей стороны, заявила тоже, что по натуре своей могу действовать только свободно, а раз Исполнительный Комитет в программу свою внес задачу (захвата власти), которая противоречит самой основе моих убеждений, а в организационной практике прибегает к приемам самовластья, чреватым взаимным недоверием, то я также возвращаю себе свободу действий. Кто-то, кажется Грачевский, считая, вероятно, мое заявление сделанным сгоряча и помня, что я указывала главным образом на вред тихомировского самовластного образа действий в организации, чтобы показать мне свое сочувствие, предложил меня в Распорядительную Комиссию. Я, конечно, отказалась, на что Тихомиров злобно заявил:

— Напрасно отказываетесь. Вас еще не выбрали, да и не выберут.

На этот раз, однако, в Распорядительную Комиссию,—не случайно, конечно, а в целях нравственного оздоровления Распорядительной Комиссии,—попала первая женщина; это была Софья Перовская. Ее энергии история обязана в значительной мере актом 1 марта, за который она поплатилась жизнью, а Тихомиров с тех пор (с начала 1880 г.), хотя и продолжал быть номинально одним из распорядителей дел Исполнительного Комитета, однако, после февральского взрыва мало-по-малу стал отстраняться от дел организации и все больше и больше льнул к легальным литературным сферам, отдавая свое время почти исключительно легальной литературе, работая в журналах под именем Кольцова.

Вообще после февральского взрыва весь 1880 год прошел для организации малодеятельно в смысле натиска на главную цитадель. Либеральные веяния и заигрывания Лорис-Меликова [132] с прессой отзывались и на революционной среде. Партия «Народная Воля» дала целый год молчаливого перемирия, хотя и не разоружалась; снаряды, заложенные под руководством Желябова под один из мостов в Петербурге, знаменуют уже, что революционеры еще раньше 1 марта изверились в лицемерных обещаниях Лорис-Меликова.

А как было им не извериться? Лорис-Меликов действовал на два фронта: в сторону легальной печати он давал всякие на-

дежды, впрочем, в очень расплывчатой форме; в сторону революционеров организовывал самую предательскую шпионскую армию, развращая общество и молодежь, завлекая в тайные агенты людей всех сфер и даже студентов. Либеральные веяния Лорис-Меликова только расслабили бдительность старых членов Исполнительного Комитета «Народной Воли», и такие ценные бойцы, как Желябов, позволяли себе появляться на многолюдных студенческих сходках, где они попадали, конечно, на примету шпионам, и к концу 1880 года и в начале 1881 г. наиболее деятельные члены организации были таким образом выслежены и один за другим перехватаны, так что 1 марта было последней лебединой песнью «великого» Исполнительного Комитета, как называли некоторые Комитет первого состава.

П р о в а л т и п о г р а ф и и «Н а р о д н о й В о л и». За это время организация понесла тяжелую утрату—в половине января была арестована типография «Народной Воли» в Саперном переулке со всеми ее обитателями, с которыми мы еще так недавно делили кров и легко могли погибнуть вместе. Судьба спасла нас. О гибели типографии пришел сообщить нам Желябов на нашу новую квартиру. Квартира эта была в первом этаже окнами во двор, и я из окна заметила высокую фигуру Желябова, всматривавшегося почему-то слишком внимательно в наш знак. Я подошла к стеклу, чтобы рассеять его сомнение, и он вошел к нам. Он был, видимо, взволнован. Горе наше было велико, когда мы узнали об участи типографии «Народной Воли», об аресте всех, о вооруженном сопротивлении и о смерти Птички. Желябов с опаской шел к нам, думая, не проследили ли и нас,—тогда еще не знали причины погрома типографии,—но все было благополучно.

После ареста типографии «Народной Воли» мы, то-есть Н. А. Морозов и я, решили уехать за границу. Морозов взял бессрочный отпуск из организации, задумал изложить на свободе взгляды, что и исполнил впоследствии в своей брошюре «Террористическая борьба» [133], не касаясь, конечно, внутренней организационной тайны происхождения новой редакции программы Исполнительного Комитета «Народной Воли», то-есть описанного мною раскола. Мне также нужно было временно уехать; я была серьезно нездорова, я недавно сильно надорвалась, неся на пятый этаж в квартиру Якимовой тяжелую бутыль с какой-то жидкостью; я ужасно обессилела после этого, а для революционной работы нужны силы, хорошие силы. Нам удалось получить заграничный паспорт и уехать за границу только в первых числах февраля 1880 г., накануне февральского взрыва во дворце.

Желябов очень упрашивал нас остаться и не ездить, но мы уже решили, это было необходимо по многим причинам; и как ни тяжело было отказать его товарищеской просьбе, но отказать пришлось. Это была моя последняя встреча с Борисом (Желябовым) (так мы его звали). Когда я вернулась в Россию в начале 1881 года, Желябов был уже арестован, а потом вскоре (в апреле) и казнен. Простились мы по-товарищески, очень сердечно.

— Спешите,—сказал он,—на-днях совершится.

И действительно, едва мы успели доехать до Берлина, как нас догнала весть о взрыве в Зимнем дворце...

Халтурин. «Неудача, опять неудача!» было нашим первым восклицанием. Напротив, заграничные газеты впервые, кажется, отозвались о русской революционной партии с большим почтением; некоторые видели в этом взрыве проявление обширного дворцового заговора, не подозревая, как сравнительно просто был совершен этот акт.

Недостаток силы материальной и численной восполнялся в этой борьбе изумительным самоотречением и личной отвагой.

Кто подумал бы, что найдется человек, как Халтурин[134], который больше месяца решится спать на подушке, скрывающей под собою динамит; кто подумал бы, что этот человек, выносивший так продолжительно эту пытку, болея от удушливых газов, которые, незаметно для других, он вдыхал каждую ночь, кто подумал бы, что тот же человек, встретив однажды один на один Александра II в его кабинете, где Халтурину приходилось делать какие-то поправки, не решится убить его сзади просто бывшим в его руке молотком, как это сделал бы всякий обыкновенный убийца, не рискуя быть пойманным.

Да, глубока и полна противоречий человеческая душа. Считая Александра II величайшим преступником против народа, Халтурин в то же время невольно чувствовал обаяние его доброго, обходительного обращения с рабочими и раз как-то, оставшись один в царском кабинете, он даже взял себе на память какую-то безделушку с его стола, которую показывал некоторым товарищам, но по их настоятельному совету снес обратно в кабинет и положил на место. Да, такие противоречия дает только жизнь — неподражаемый творец ничтожного и могучего, великого и малого...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Мой второй приезд за границу. В Женеве, куда мы приехали с Морозовым, мы застали все ту же компанию, какая проживала там в конце 1878 г. и начале 1879 года. Там были С. Кравчинский, Драгоманов, Кропоткин, Засулич, Дейч, Стефанович. Колония несколько обновилась, впрочем, временно пребывавшим там (собственно не в Женеве, а в Кларане, куда скоро почти все переехали) редактором-издателем журнала «Дело» К. М. Станюковичем, проживавшим там со своей симпатичной, милой семьей. Он писал в то время один из своих больших романов, «Два брата», где, правда, в очень общих штрихах изображает пропагандиста-революционера.

К. М. Станюкович. Станюкович, человек очень живой, впечатлительный, талантливый и симпатичный, слыл, кажется, за очень неуживчивого в легальной литературной сфере, но к нам всем он относился всегда крайне любезно и хорошо. Так, он дал переводную работу Кравчинскому, в которой по приезде приняла участие и я, продолжая переводить начатый им роман «Спартак», который и был помещен в 1881 г. в «Деле», пока Морозов писал свою «Террористическую борьбу» и другие работы.

У Станюковича, очень гостеприимного хозяина и интересного собеседника, мы бывали часто. Общество его милой, поэтически настроенной жены было также очень приятно. Это была настоящая хорошая русская семья, дружная и приветливая, с прекрасно воспитанными детьми, которые, как живой цветник, окружали их. Я не порывала этого знакомства и после, а в Сибири, в Томске, куда он был сослан после 1 марта за сношения с Тихомировым и куда последовала за ним и его семья, мы сошлись еще ближе. Там в долгие зимние вечера он рассказывал, бывало, нам иногда в комическом виде, что делали некоторые литераторы после 1 марта. Перед совершением этого акта они были предупреждены, что на-днях произойдет нечто, и готовились к предстоящему политическому событию. Все про-

грессивного направления газеты и журналы условились единодушно стать на защиту свободы.

Многие, и в том числе Станюкович, написали заранее составленные воззвания и, собравшись в редакции одного большого журнала, ждали событий... Событие совершилось, и у литераторов опустились руки. Не видя восстания, которого почему-то ожидали эти близорукие политики, они не решились сами, как представители общественного мнения, заявить мирным словом те требования, о которых только-что мечтали и для проведения которых декретами в проекте ими были даже намечены члены временного правительства. Вышло так, что все сразу заговорили о том, что преступно губить лучшие журналы и газеты, что это будет мальчишеством, а не выражением общественного мнения, и порешили выразить свой протест молчанием. Так и промолчали они замечательный акт новейшей русской истории.

Гартман и Гамбетта. Его чуткому уму и сердцу виделись симптомы недобрые... Так, старые товарищи наши по Исполнительному Комитету, взволнованные вестью об аресте Гартмана * [135] в Париже, прислали мне деньги и письмо с просьбой съездить в Париж и похлопотать там перед французским правительством об освобождении Гартмана. Первым министром Франции был тогда знаменитый Гамбетта [136]. Поручение Исполнительного Комитета я лично, по болезни, исполнить не могла и передала его Сергею Кравчинскому. Он поехал в Париж вместе с эмигрантом Н. Жуковским и только после многих усилий получил аудиенцию у Гамбетты. Гамбетта принял их очень недоброжелательно и сурово, хотя и сообщил, что в силу законов Франции, а не в силу сочувствия им, как представителям революционной партии, Гартман будет выслан из пределов Франции на ближайшую границу и попадет, следовательно, в Англию, а не в Германию, чего мы боялись. Нам ничего больше, конечно, и не было нужно... Но отношение Гамбетты к нашим представителям, Гамбетты, мечтавшего уже тогда о союзе с Россией, показывало нам, что этот выдающийся политик, перед которым были открыты мировые карты, знал цену лорис-меликовскому либерализму и не видел в нем залога победы русской свободы...

Возвращение Н. Морозова в Россию. Закончив свою литературную работу в Кларане, Н. Морозов решил вернуться в Россию. Был уже январь месяц 1881 года... Я простилась с Морозовым с таким тяжелым чувством, какого раньше не знала.

---

* Гартман — участник взрыва 19 ноября 1879 года в Москве.

Я жила в Женеве, этой клоаке шпионов, и, чтобы не привлечь к нему их внимания, не могла даже проводить его на поезд.

Арест Морозова. Через несколько дней по его приезде мне передали, что меня просят зайти в театр, где передадут мне какие-то известия от Морозова. Эта таинственность удивила и взволновала меня: почему нет письма мне лично... Я пошла и сидела взволнованная, рассеянно слушая какую-то оперу. В антракте ко мне подошел Мендельсон [137], сын известного банкира и товарищ Варынского [138] и Длусского [139]; он в сбивчивых выражениях объяснил, что пришло нехорошее известие, что Морозов, кажется, арестован, хотя не наверно... Я чуть не упала от горя и, шатаясь, как во сне, кое-как добралась до дому. Плач моей девочки, проснувшейся, когда я без достаточной осторожности вошла в комнату, привел меня в себя. Я успокоила и накормила ее, но какой яд давала я ей с моим молоком, и где я взяла бы другого! Всю ночь плакал ребенок, я носила его на руках по комнате, прижимая к груди. В голове у меня было как-то пусто, пусто...

Предложение Сергея Кравчинского и мое решение. Часов в восемь утра ко мне постучались; я молча отворила дверь; на пороге стоял бледный, как полотно, Сергей Кравчинский, очевидно, только-что приехавший с утренним поездом из Кларана. При одном взгляде на него я поняла, что он все знает.

— Слушай, Ольга, я поеду, я сам освобожу его,—сказал он мне.

Я горячо запротестовала.

— Мало одной гибели,—говорила я,—ты хочешь еще сгубить и себя. Нет, я поеду сама, и, как женщина, проберусь легче и, может быть, смогу что-нибудь сделать для него.

Сергей уговаривал меня остаться, уверял, что уже распорядился послать туда одну знакомую, которая сделает все, что можно, но я решила бесповоротно и стояла на своем.

— А дочь твоя?—указал он на ребенка, как на последний аргумент.

— Дочь мою я все равно уже кормить не могу, я оставлю ее пока тебе и твоей жене, а потом мы решим, как устроить ее. Я надеюсь вернуться скоро.

Сергей больше не возражал и уехал делать свои распоряжения, а я стала наскоро собираться, чтобы свезти ребенка в Кларан и затем ехать дальше. У меня не было еще денег на поездку в Россию, не было паспорта: старый употреблять было рискованно. Паспорт я достала в тот же день у одной очень симпа-

тичной русской студентки, которая мне ссудила его только на проезд с тем, чтобы я не жила по нем в России; я это обещание исполнила и при всех опасностях и невзгодах сберегла его незапятнанным и вручила ей через знакомых в 1882 г., уже сидя в тюрьме. Деньги помог мне достать Герасим Романенко [140], эмигрировавший из Одессы студент-юрист, талантливый человек и превосходный товарищ, очень расположенный к Морозову и ко мне. Он в тот же день достал у одной очень состоятельной студентки 1.000 франков без всяких условий и вручил их мне.

Так я была готова в путь. Я тщательно уложила вещи моей бедной девочки в особый чемодан и оставила себе только маленький шелковый платочек ее, которым обыкновенно повязывала ей голову. Этот платочек да фотографическая карточка Морозова, снятая перед его отъездом, были единственной памятью, оставшейся мне как прошлое...

В Кларан я поехала одна с ребенком. Утром рано я была у Сергея Кравчинского, который с замечательной предупредительностью достал уже кроватку для моей девочки и поставил ее в чистой, светлой комнатке, куда он меня ввел и оставил одну. Я долго стояла как отупелая посреди комнаты; усталый ребенок спал на моих руках; его личико, с порозовевшими от сна щеками, было спокойно и младенчески прекрасно... Когда я, наконец, решилась опустить ее в кроватку, она открыла глаза, большие, серьезные, спокойные, еще объятые сном... Я не могла вынести этого взгляда. Боясь разбудить ребенка, не смея поцеловать его, я тихо вышла из комнаты; я не знала, не хотела верить, что вижу в последний раз мою девочку. Я думала вернуться, но этому не суждено было сбыться... Я этого не понимала. Сердце мое отупело от горя.

Когда мое пребывание в России затянулось, Сергей, не имея возможности непосредственно и правильно сноситься со мной, сам решил участь моей дочери, как ему казалось лучше. Его бродячая жизнь эмигранта не могла обеспечить верного и покойного приюта ребенку, и однажды, долго не получая известия обо мне, он решил уступить давно выраженному желанию С. Подолинского [141], предложившего взять к себе моего ребенка, чтобы воспитать вместе со своими детьми.

Сергей Подолинский. Сергей Подолинский был верным другом и поклонником П. Л. Лаврова; я знала его еще в пору моего студенчества в Цюрихе, когда он так любил, бывало, кататься с нами на лодке по озеру и вести со мною, тогда еще 18-летней девочкой, беседы о философских и научных вопросах. Впоследствии он женился на одной киевской барышне, но

после рождения у нее третьего ребенка разошелся с женой, оставив всех детей у себя. Увозя своего последнего ребенка из Кларана, он просил С. Кравчинского уступить ему и моего. Сергей Кравчинский после некоторого колебания согласился; правда, дети росли бы без матери, но Подолинский сам был врач и очень мягкий человек, а крупные средства давали возможность дать им прекрасное образование. Девочке моей было уже полгода, когда Сергей Кравчинский вручил ее Подолинскому. Ей не пришлось прожить и двух недель у своего нового приемного отца: эпидемический менингит, косивший в то время детей на юге Франции, сгубил и мою дочь; она умерла вместе с ребенком Подолинского и похоронена на кладбище в Montpellier, где у него была вилла. Самого Подолинского тоже скоро не стало; пережитая им драма с женой подкосила его душевные силы, он впал в тяжелое душевное расстройство и умер скоро в Париже, где впоследствии наделал много шума процесс его матери с его женой из-за уцелевшего старшего ребенка.

Да, грешно революционерам заводить семью; как воины под градом пуль, они — мужчины и женщины — должны стоять одинокими. Но в молодости как-то забываешь, что жизнь революционеров считается днями и часами, а не годами...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Мой вторичный приезд из-за границы. Расставшись с ребенком, простившись с ближайшими друзьями, я незаметно ни для кого выехала сейчас же в Россию. Меня до Берна проводил Романенко, ухаживая за мною, как нянька. Я была как во сне. Дорогой Романенко не раз уговаривал меня придать лицу более веселый вид, хотя бы ради конспирации.

— Вот увидите, — говорила я в мое оправдание — несмотря на мой невеселый вид, я проеду благополучно; по правде говоря, мне теперь все равно, что бы со мной ни случилось; лунатики не падают, а проходят там, где спотыкаются зрячие люди.

Так и вышло; я проехала вполне благополучно, взяв из Берлина билет 2-го класса в скором поезде: это не была прихоть, на самом деле я была больна. Оторвав сразу ребенка от груди, я не смогла дорогой убить молоко, да и не думала об этом. Молоко вызвало воспаление и лихорадку. Так я приехала в Петербург, чтобы встретиться с О. Кутузовой (Кафиеро[142]), выехавший почти одновременно со мной из Кларана и обещавшей помочь мне в деле освобождения Морозова. Я должна была также повидаться со старыми товарищами по Исполнительному Комитету, которые, я знала, продолжают, несмотря на мое разногласие, попрежнему хорошо относиться ко мне и обращались еще не так давно ко мне с поручением по поводу Гартмана, о котором я говорила выше.

Гриневецкий[143]. Кроме Кутузовой мне нужно было взять себе на подмогу в Сувалки, где под именем Лакьера сидел Морозов, кого-нибудь из мужчин, и за этим я обратилась к старым товарищам. Это было в конце января или в начале февраля 1881 года, то-есть когда организация понесла уже очень крупные потери. Повидавшись с некоторыми более близкими мне лицами, я с деловым предложением обратилась к Гриневецкому, как знавшему Западный край и как человеку реши-

тельному и замечательно хорошему товарищу. Он согласился, но на другой день сообщил, что ему поручено другое дело, более ответственное, и что он, при всем желании, ехать со мной не может; я не спрашивала, какое это ответственное дело, тем более, что от Веры Фигнер, с которой я несколько раз виделась в эти дни, я знала, что партия, изверившись в обещания правительства, готовится скоро к новому удару. Мне пришлось взять с собой одного очень молодого человека, который, по словам Гриневецкого, знал Западный край и мог быть мне полезным.

Условившись с этим молодым человеком встретиться в квартире одних молодых девушек, в числе которых была, кажется, его сестра, я на прощанье повидалась с Гесей Гельфман, моим старым товарищем по процессу 50-ти. Я знала, что она ведет переписку с Колодкевичем, отцом ее будущего ребенка. Колодкевич сидел в Петропавловской крепости, сношения с которой поддерживались вплоть до ареста Перовской (в марте 1881 года), даже с Алексеевским равелином, где сидел тогда Нечаев[144], умевший передавать на волю даже целые писанные им прокламации, из которых, кажется, ни одна не была напечатана. Я поручила Гесе Гельфман следить, не привезут ли Морозова в крепость.

Геся Гельфман. Геся была грустна и выглядела не совсем здоровой, но личное горе свое она топила в беспрерывных хлопотах, налагаемых нелегальной жизнью революционера. Вообще в то время мало было видно веселых лиц в нашей среде. Каждый день уносил кого-нибудь; оставшиеся были подавлены этим потерями и напрягали последние силы на последний удар... Удар этот скоро свершился... Геся Гельфман была одним из участников его и словно предчувствовала, что доживает последние дни своей свободы; а как недолго вообще она пользовалась ею... Осужденная по процессу 50-ти в 1877 году, как посредница по сношениям между собою будущих товарищей ее по процессу, занимавшихся в 1875 году пропагандой и организацией молодежи и рабочих в различных городах империи, Геся Гельфман, как непривилегированная, была осуждена на заключение в рабочем доме в Петербурге. Когда в августе 1878 года я бежала из Сибири, Геся Гельфман томилась еще в рабочем доме: я переписывалась с нею и раз даже пришла под окно Литовского замка, где она сидела с Топорковой[145]. Моя свобода их радовала.

Только через год, летом 1879 г., Геся была освобождена из рабочего дома и отправлена под надзор полиции в Старую Руссу. В конце 1879 г., кажется в октябре, она бежала из Старой

Руссы, и тут только мы встретились с нею впервые после нашего осуждения. Она говорила мне, что чувствует себя крайне утомленной после такого продолжительного заключения, что ей хотелось бы отдохнуть; но это было такое горячее время, все были так увлечены напряженной борьбой, что общий водоворот захватил и ее. Она была вообще человеком очень впечатлительным и всегда готовым на жертву. Вся ее жизнь — сплошная жертва: она умела любить.

Не забуду я нашу встречу в Киеве. Квартира Геси Гельфман служила нам для письменных сношений и для встреч. Когда летом 1875 года я проездом из Одессы в Москву и Тулу зашла в Киеве на квартиру Геси Гельфман, ее не было дома. Мне пришлось долго ждать, я была очень утомлена с дороги, и хотя с Гесей совсем еще не была знакома, но с простотой и доверчивостью молодости прилегла к ней на постель и заснула. Не знаю, долго ли я спала, но я проснулась от поцелуя. Вся охваченная еще сном, я открыла глаза. Надо мной наклонилась молодая кудрявая женская головка, приветливая и улыбающаяся с неимоверной добротой.

— Вы Гельфман?—спросила я.

— Да, я—Гельфман, я долго смотрела на вас,—продолжала она, — на ваше спокойное лицо, и я полюбила вас сразу и не удержалась — поцеловала.

Мы стали с тех пор друзьями. Она впоследствии рассказывала мне всю свою жизнь.

Она дочь зажиточного еврея фанатика, жившего в городе Мозыре; отец не дал ей никакого образования, и она всем обязана себе, своей энергии. 17-летней девочкой, отец, не спрашивая ее, решил выдать ее замуж. Ей приготовили приданое; свадьба назначена была на завтра; старые женщины хотели уже взять ее, чтоб проделать над нею отвратительные обрядности, требуемые старым еврейским обычаем, но в ней возмутилась стыдливость, она решилась бежать. Заручившись содействием какой-то русской подруги, она ночью бежала к ней, захватив свои драгоценности, а потом перебралась в Киев, где поступила на акушерские курсы, чтобы жить честным трудом.

В Киеве она сблизилась с прогрессивной молодежью и познакомилась в 1875 г. с одним из членов организации лиц, осужденных по процессу 50-ти, с Александрой Хоржевской [146] (кончившей дни самоубийством в Сибири), а потом и со мной. Я не стану рассказывать ее дальнейшую судьбу: она общеизвестна. Арестованная вместе с Саблиным (покончившим с собой) на квартире, где сходились участники 1 марта 1881 г., она была присуждена к смертной казни, и только беременность отсро-

чила эту казнь и обрекла ее на другую, более ужасную, которой нет имени. Пять месяцев томилась она под угрозой казни, и только перед самыми родами ей объявили помилованье. Они дали ей родить ребенка, но обставили этот ужасный акт такой пыткой, примера которой не знала история: ее перевели для родов в Дом предварительного заключения, дали ей там довольно большую камеру, но в камеру поставили несменяемых часовых.

Не одну женщину, — и не бывшую в таком положении, — свели с ума бессменной стражей в тюремной камере; этому приему обязана своим умопомешательством, например, Елизавета Оловенникова[147]. Какие муки пережила несчастная Геся Гельфман, это не под силу воображению даже средневекового палача.

Она с ума не сошла; организм ее был слишком крепок, она родила живого ребенка; она смогла даже дать ему грудь. Ребенок был ее. Никакой закон, охраняющий материнское право даже в каторжнице, не мог отнять его. Но кто думал в то время руководствоваться законом! Через несколько дней у Геси Гельфман отняли ночью ребенка и на утро свезли в воспитательный дом и бросили там, не взяв ни номера, ни квитанции; между тем многие предлагали взять на воспитание этого ребенка. Мать не выдержала и очень скоро умерла.

Так кончила жизнь Геся Гельфман, бежавшая из дома отца, возмущенная старым обычаем, возмущенная попранным правом женщины, — чтобы погибнуть жертвой неслыханного насилия над чувством женщины, человека и матери.

Подробности последних дней ее жизни я узнала в 1882 г. от надзирательниц Дома предварительного заключения и от прокурора, к которому я тогда, уже арестованная, обатилась с просьбой дать мне на воспитанье ребенка Геси Гельфман. Прокурор сказал мне, что ребенок в воспитательном доме, и о его судьбе никому ничего не известно, а женщины дополнили вышеописанные подробности.

Я понимаю, что врага, в особенности врага, борющегося с оружием в руках, можно убить, уничтожать, но подвергать его пытке, губить его неповинное дитя — это... это уже не по-христиански, — могла бы сказать и, вероятно, думала в свои последние минуты жизни еврейка Геся Гельфман...

Когда я прощалась с Гесей Гельфман в феврале 1881 года, я не знала еще, что это наша последняя встреча, но мне надо было спешить. Молодой человек, с которым мне предстояло ехать в Сувалки, попросил меня переждать одну ночь в близком ему семействе молодых девушек, у которых я и ночевала.

Видя мое нездоровье, эти добрые молодые девушки уговорили меня полечиться и утром проводили меня в лечебницу, где я получила нужный совет и лекарство. С вечерним поездом я выехала в Сувалки вместе с моим молодым спутником, а Кутузова уехала раньше туда, чтобы осмотреть позиции и кое-что выведать. Ей, давно отвыкшей от России, так не посчастливилось, что она, кажется, сейчас же была арестована, — где и как я сейчас не помню, — и выслана, кажется, на родину в Тверскую губернию.

Мне пришлось начать дело с моим молодым спутником. Он был еще очень молод, кажется, едва кончил гимназию, и я, конечно, не могла решиться подвергать его большому риску. Задача очень осложнялась; в Сувалках у нас не было ни души знакомой, и молодой человек был так неопытен, так неконспиративно держал себя, думая, вероятно, что я такая же легальная барышня, как и он, так обращал на себя внимание своими слишком либеральными замечаниями при посторонних, что прямо сердил меня; конспиративной выдержки в нем совсем не было. Он был новичок в полном смысле слова, горячий, самоотверженный, но совсем неумелый. Пробраться в замок можно было только через тюремных служителей; я, как женщина, сама сблизиться с ними не могла, я не могла заводить их в трактир и поить там, а молодой человек тоже не умел и не мог этого сделать. Только через две недели мы узнали, что Лакьера-Морозова в Сувалкском замке нет; нам говорили, что его увезли в Ковно, другие — в Минск; и те, и другие, кажется, врали. В Ковно те же неимоверные трудности завести сношения с замком, то же отсутствие каких-либо знакомств. Мой спутник от скуки стал ходить в общественную читальню, несмотря на мое предупреждение, что в читальне можно нарваться на шпиона. Я металась в бессильной тоске, скрывая свое горе от своего спутника. От баб и торговок, с которыми я пыталась лично завести сношения, ничего путного я узнать не могла! Так бесплодно шло время; я ждала случая, целый месяц билась я... февраль был уже на исходе.

Отзвуки 1 марта в провинции. Раз, проснувшись утром, замечаю на улице необычное волнение, везде по углам улиц стоят кучки людей, о чем-то говорят, качают раздумчиво головами; я поняла, что свершилось нечто, но что... Выхожу из дома, по улицам безумно мечутся курьеры; еще вчера, 1 марта вечером, дом губернатора был освещен, как на бал, то-и-дело сновали туда экипажи, хотя большого съезда не было видно. Очевидно, то был совет. В толпе ходят смутные слухи: государ убит, Петербург взорван и проч. К полудню 2 марта

появляются объявления о смерти Александра II и о восшествии на престол Александра III [148]. Народ сзывался в синагоги, в костелы на присягу. Оставаться нам в Ковно было бесполезно: не было никаких данных, чтобы Морозов был там. Я не знала, под каким именем он арестован, но мне известно было, что с ним был паспорт Лакьера, и я, наконец, сама пришла прямо в замок и спросила у письмоводителя, нет ли у них арестанта по имени Лакьера, перевезенного из Сувалок, не говоря, что это политический. Мне отвечали, что нет; по лицу и по тону, по его отношению ко мне я видела, что он говорит правду, и поняла, что вообще у них, повидимому, политических не было, иначе моим появлением заинтересовались бы более.

Мы решили ехать в Вильно, где у нас были знакомые, чтобы узнать подробности политических событий и взять оттуда некоторые рекомендации в Минск. Неопытность моего спутника дала свои плоды. Когда мы садились в поезд, за ним стал нахально следить шпион в синих очках, которого, оказывается, хорошо знал уже мой спутник, встречая его в читальне, где, по его словам, он всегда терся возле него.

Дорогой нас, однако, не тронули, но следили по пятам.

По приезде в Вильно я предложила моему спутнику остановиться в разных гостиницах и советовала ему, взяв номер, незаметно скрыться, так как я видела, что его непременно возьмут, а он, хотя и был легальным, жил в Ковно по фальшивому паспорту. Но он не послушался, решился остаться на ночь в гостинице и на утро уехать в Петербург; он не послушался также моего совета: если ехать, так ехать сейчас же. Он хотел кого- то повидать в Вильно. Я видела, что он идет к пропасти, но он был слишком упрям; спасти его я не могла, делить его участь было бы глупо, а потому, как только я остановилась в гостинице, я сейчас же заказала самовар и, не запирая номера, побежала незамеченная по одному знакомому адресу; мне с готовностью обещали приют; вместе с юным гимназистом из этой семьи я вернулась в гостиницу; он незаметно взял мой чемодан, а я, оставив рубль на столе, вышла отдельно от него и, поблуждав и покружив по городу, благополучно добралась к моим новым знакомым (это было очень симпатичное еврейское семейство, фамилию которого, как мимолетное знакомство, к сожалению, я забыла).

На утро мы узнали, что мой спутник арестован ночью в его гостинице. Его упрямство обошлось ему не дешево, он попал в Сибирь, где провел несколько лет в административной ссылке...

После этого ареста мне являться на вокзал тоже было рисковано, и потому дня через два мне удалось пробраться в

Минск в рабочем вагоне, куда усадил меня один русский рабочий задолго до приезда и запер на ключ; мне пришлось просидеть так чуть не полдня, пока, наконец, вагон прицепили, и мы поехали. Рабочий, провожавший меня, вошел ко мне только, когда поезд тронулся в путь.

В Минске я уже не была одна, и это облегчало мою задачу. Я вскоре узнала, что Морозова (Лакьера) нет и в Минской тюрьме, и что он увезен в Петербург, как говорили, прямо из Сувалок. Я страшно устала от этих бесплодных поисков, но все же не хотела мириться с моей неудачей, и решила ехать в Петербург. Но по прежнему опыту я знала, что с фальшивым паспортом там жить свободно нельзя, а потому осталась в Минске, чтобы найти себе нужные документы. Это не скоро можно было сделать. В ожидании паспорта мне пришлось вращаться в кругу местной радикальной молодежи, а отчасти встречаться и с рабочими. Все были под впечатлением события 1 марта. Многие приходили ко мне и спрашивали, почему молчит Россия, что делать, не устроить ли какую-нибудь демонстрацию, какое-нибудь вооруженное нападение на то или другое лицо или учреждение. Я говорила им на это:

— Товарищи, сосчитайте свои силы, ведь их у вас, я уверена, очень немного, и вместо великого, я боюсь, вы сделаете только смешное.

И они признавались, что сознательных сил крайне мало, и умолкали; они начинали понимать, что отдельные слабые вспышки принесут не свободу, а новый гнет...

В Минске мне пришлось провести не меньше месяца, так что я попала в Москву уже в апреле.

Привоз в Москву шрифта для новой типографии. По просьбе моих минских знакомых я захватила с собой в Москву большой чемодан со шрифтом для новой типографии «Н. В.». Отказать мне не хотелось, хотя это была рискованная для меня задача, но я решила ее очень просто. Я приобрела очень нарядную шляпу со светлыми бантами и цветами, купила изящную летнюю накидку и одна, без провожатых, поехала на вокзал с этим громоздким, большим, довольно старым кожаным чемоданом, внутри которого, переложенный тряпьем, лежал шрифт, связанный плитками. Носильщику я велела нести этот чемодан в багаж; когда он его поднял, то даже ахнул, так было тяжело.

— Что у вас, барышня, в чемодане?—спросил он меня.

— Это разная домашняя металлическая посуда,— сказала я, и, посмотрев на меня, на мой веселый, нарядный вид, он успокоился и поверил.

Мы сдали багаж, при чем я сама стояла возле него с носильщиком, и я благополучно приехала в Москву, где и остановилась прямо в гостинице: у меня был уже прекрасный паспорт.

В Москве мне советовали не ездить в Петербург, пока не затихнет первый натиск реакции.

— Там из нелегальных никого почти нет,—говорили мне,— и все равно ничего пока нельзя сделать в тюрьме.

Но я решила все-таки ехать и, передав квитанцию от чемодана со шрифтом А. П. Корба и предупредив ее, чтобы за получением его шла непременно женщина, я решила остаться в Москве не надолго, чтобы повидать только своих родных—отца моего и его младших детей.

Свидание с отцом. Отца я не видела со времени моего суда, то-есть с 1877 года, и теперь, разузнав его адрес, отправилась к нему в Петровский парк, предупредив, в котором часу буду у него. Восемь лет, то-есть со времени моего отъезда студенткой в Цюрих, я не жила больше в родном доме. Родного дома у нас, впрочем, уже не было, не было и родной семьи. За год до моего отъезда в Цюрих отец женился на нашей гувернантке, когда не прошло и двух лет со смерти моей матери *. У него народилась новая семья, а старая разбрелась: сестра моя Вера [149] приехала вслед за мной в Цюрих; сестра Татьяна, как только подросла, стала жить отдельно и теперь жила в консерваторских квартирах, учась пению, а самая младшая, Клавдия, только-что вышла замуж за бывшего управляющего отца моего, едва ей исполнилось 16 лет; старший брат где-то служил управляющим.

Отец остался один с новой семьей; в делах ему не повезло. Разорившись во время русско-турецкой войны, вследствие общего застоя в деловых операциях, отец вынужден был оставить производство и продать свое подмосковное имение (на Сетуни), где у него был большой кирпичный завод, приносивший крупный доход. Ему пришлось опять, как в молодости, поступить в Московский межевой департамент Сената, где он служил раньше, и теперь он жил уже не в своем обширном доме, построенном им на Сетуни (в 7 верстах от Москвы), а на даче в Петровском парке.

---

* Моя мать, Марья Петровна Любатович, урожденная Теряева, — дочь золотопромышленника, имевшего золотые прииски в Сибири вместе с Зотовым. Она училась в лучшем французском пансионе в Москве и была подругой дочерей писателя Лажечникова, в доме которого встречала и других писателей, чему она была обязана своим редким для того времени развитием.

С грустным чувством переступила я отцовский порог после такой долгой разлуки. Я застала всю семью за неряшливо накрытым обеденным столом; никаких следов прежнего комфорта и порядка. Отца окружало человек пять маленьких детей, из которых старшему было лет восемь, остальные все моложе. Зная, что я бежала из ссылки и пришла нелегально, отец, завидев меня, выслал детей играть в сад; за ними вышла и мачеха моя Марья Ивановна, урожденная Соловьева.

Я осталась одна с отцом. Он взял меня за обе руки и, всматриваясь в лицо, сказал:

— Боже, как изменилась, только глаза остались те же.

Я обвила рукою его шею и долго от волнения ничего не могла сказать...

— Да,—продолжал он с грустью, когда я овладела собой,— я иногда обвиняю себя, что не сумел удержать тебя, не запер тебя, если бы это понадобилось, когда, помнишь, лет пять или шесть назад ты так же тайком забежала ко мне в Москве и призналась, что работаешь на московской фабрике и ведешь пропаганду.

— Я предупредила тогда тебя потому, чтобы ты не слишком страдал, когда узнал бы о моей судьбе от посторонних, но запереть меня ты бы не мог, я и от тебя бежала бы так же, как потом бежала из Сибири. Оставим это, тебе не в чем упрекать себя,—ответила я,—моя судьба уже предрешена, и в ней ни ты, ни даже я сама не властны. Береги себя для других детей, ты утомлен и грустен,—это не хорошо...

— Да, и мной пережито не мало,—как бы про себя сказал отец и, подойдя к окну, распахнул его.— Как здесь душно,— заметил он,—если ты не устала, пойдем пройтись по парку.

И мы пошли бродить. Он откровенно объяснил мне, как произошло его разорение, как он, оберегая свою честь, должен был все отдать кредиторам, как в это пошли даже те случайные 8 тысяч, которые выиграны были на выигрышный билет, подаренный мне дедушкой до моего совершеннолетия, и которые отец берег для меня, несмотря на мое осуждение.

Мне было бесконечно жаль отца, которому эти признания, я видела, стоили тяжелой борьбы. Я слышала мельком о получении этого выигрыша от него же, еще сидя в тюрьме, и теперь надеялась, что, может быть, что-нибудь уцелело для моей осиротелой девочки, о смерти которой я тогда еще не знала, так как я просила Сергея Кравчинского уведомить меня о ней в Петербург по адресу одной родственницы жены его Фанни: в моем бездомном бродячем житье я и писем получать не могла.

Когда отец узнал, что у меня есть ребенок и что я оставила

его за границей, он сильно взволновался. Как человек умный и хорошо образованный (он получил образование в Межевом институте *, он прекрасно понимал, конечно, что в моем нелегальном положении ребенок мой легальным быть не может, но он все-таки страдал за меня и за ребенка, он страдал моим горем и невозможностью помочь мне. Упрекать меня он не хотел...

— Эх, отчего ты не родилась у меня мальчиком,—через минуту услышала я грустный, слишком знакомый мне с детства возглас, который, бывало, заставлял меня, маленькой девочкой, долгие часы молиться потихоньку богу, чтобы он переделал меня в мальчика...

Теперь я поняла отца, я поняла, что на мои плечи легла не только трудная жизненная ноша человека, но и ноша женщины...

Мы бродили с отцом до сумерок, говорили о событиях дня, о будущем; он также страдал душой за родину, ждал для нее свободы, но не оправдывал насильственных средств.

— Нужно переродить наше общество нравственно,—говорил он,—посмотри наших общественных деятелей, наших думцев и земцев; ими руководят больше интересы личные, интересы тщеславия... Так нельзя возродить России.

— Я от них ничего крупного, хорошего не жду,—был мой ответ...

Давно уже стемнело, парк уже опустел; отец проводил меня до моей гостиницы, и мы разошлись... Невесело было на душе.

Софья Бардина. На другой день, когда я собиралась уже выехать в Петербург, ко мне зашел кто-то из старых товарищей по Исполнительному Комитету (помнится, Вера Фигнер) и сообщил, что муж Сони Бардиной—Шахов—в Москве и хочет меня видеть.

— А сама Соня, неужели ее нет здесь?—спросила я.

— Нет, ее, кажется, еще нет,—был ответ.

Свидание муж Бардиной почему-то назначил на улице. Я его совсем не знала (он был учителем в Ишиме, Тобольской губернии, куда была сослана Бардина, и никогда в революционном движении участия не принимал). Мне описали его наружность, а я условилась надеть какую-то ленту вместо знака, чтобы он узнал меня. Свидание состоялось в этот же день. Он первый узнал меня и подошел. С первых же слов я увидела, что имею дело с человеком совсем не нашего круга, что мне говорить с ним просто не о чем. А как сильно стучало мое сердце!

---

* Мой отец был, между прочим, учеником знаменитого Белинского, который преподавал в то время в Межевом институте.

с какой надеждой ждала я его! Неужели, думалось мне, Соня Бардина, мой старый верный товарищ, неужели она близко? Но господин, который представился мне как ее муж, не говорил мне прямо, где она. Он спрашивал меня только, можно ли безопасно жить в Москве и Петербурге, но утверждал, что Сони в Москве нет, хотя для чего-то упрашивал, чтобы я пошла к нему в гости. Я ответила, что в Москве и Петербурге можно было жить безопасно только тем, кого не слишком ищут, и, если Соня только-что бежала, я прошу его передать ей, чтобы она себя поберегла и временно пожила бы за границей. Так мы расстались, и я уехала в Петербург.

Софья Бардина бежала из ссылки еще незадолго до 1 марта 1881 года и жила несколько времени в Казани, где бессмысленная и неумелая конспиративность местных народовольцев и чернопередельцев возмущала и волновала ее и держала в тисках, в чем отчасти, может быть, был виноват и ее муж. Я только потом в Сибири узнала также от М. Чикоидзе [150], осужденного вместе со мной и Бардиной по тому же процессу 50-ти, что в тот момент, в конце апреля или начале мая 1881 года, когда я виделась с мужем Бардиной, в Москве были Чикоидзе и сама Бардина, при чем Чикоидзе очень просил Веру Фигнер устроить ему свидание с Бардиной и со мной, но Вера Фигнер почему-то не передала этого желания мне и не сказала ему, что я в Москве. Я объясняю себе это тем, что моменты нашего пребывания в Москве не совсем, вероятно, совпадали. Как бы то ни было, мне никто даже не сказал, что Чикоидзе, мой старый товарищ, бежал из Сибири и находится в России; я об этом узнала, только встретившись с ним в одной арестантской партии в 1883 году, когда его высылали обратно, уже не на поселение, а на каторгу, за побег из ссылки (по приговору Сибирского полицейского суда), после которой ему не суждено было увидеть Россию: он умер в Сибири...

Так Чикоидзе, с неимоверными усилиями пробравшийся с берегов Лены в Москву в 1881 году, затерялся среди новых, незнакомых ему, мало оберегавших его товарищей, которые, по его словам, как-то, очень скоро по приезде, поручили ему свезти в провинцию какие-то тюки с разрозненными, и следовательно, даже бесполезными листами «Народной Воли» куда-то в Харьков или Белосток, где он сейчас же и попался, незнакомый с изменившимися полицейскими условиями того времени.

Между тем мы, то-есть Бардина, Чикоидзе и я, могли бы общими усилиями значительно освежить революционное дело; осужденные по процессу 50-ти, мы были раньше членами очень тесной, а потому дружной и сильной организации, крепкой

своим идейным и нравственным единением; наша организация еще в 1875 г. положила первые зачатки революционного объединения городских рабочих в Москве и некоторых других местах; она в зародыше предначертала в своей программе дальнейший ход революционного движения от мирной пропаганды до дезорганизации правительства террором, до вооруженного сопротивления властям (выстрел и сопротивление князя Цицианова, поддержанное Верой Любатович).

Эта организация, как мне говорил Ал. Михайлов и многие другие, послужила дальнейшим организациям («Земле и Воле») примером тесного сплочения революционных сил; наша организация в короткое время охватила революционной пропагандой большинство крупных фабрик Москвы, а также и некоторые провинциальные города, как Одессу, Киев, Тулу, Иваново-Вознесенск и другие; эта организация не дала из своей среды ни одного предателя, она была обязана этим принципу полной свободы и равенства членов ее, который лег в ее основу. Каждый член-интеллигент или рабочий, мужчина или женщина,— не по выбору, а по очереди, в силу каждому присущей обязанности и права, исполнял в определенное время административные обязанности; члены администрации были посредниками и только; власти у них не было никакой, и у нас так высоко, например, ценилась непосредственная работа в народе, так высоко стоял принцип обязательности простого рабочего труда для каждого члена, что в администрацию все шли неохотно, и как ни коротко было время нашей пропаганды (меньше года), она оставила очень заметные следы в народе, и наше наследие было использовано пришедшими после нас. Так, первым рабочим, выкинувшим впервые красный флаг «Земли и Воли» во время демонстрации 6 декабря на Казанской площади в 1876 г. в Петербурге, был Яков Потапов [151] (воспитанный членом нашей организации И. Ж-м), раньше привлекавшийся к дознанию в Киеве по нашему процессу (50-ти); имя члена нашей организации рабочего Петра Алексеева [152], сказавшего свою знаменитую речь в Сенате, известно всем даже теперь. А тогда, в 1881 году, нас еще лично помнила рабочая Москва (это мне говорили простые рабочие, когда в 1881 году я провела несколько дней в московской тюрьме), нас помнила тогда интеллигентная Россия,— и все это использовать нам самим не пришлось: судьба разбросала нас, и мы гибли в одиночку, скованные нашей разобщенностью.

Смерть Бардиной. Бардина, отправившись временно за границу, застала там только чернопередельцев, забывших старое духовное родство с нами. Революционное движение в то

время уже диференцировалось на два течения, и мы, объединявшие в нашей программе свободную организацию народа, мирную проповедь и вооруженный протест, мы оказались както не вполне подстать ни тем, ни другим. У Бардиной не оказалось за границей ни одного близкого человека, но это было бы ничего: у нее не оказалось и физических сил. Одинокая, всеми забытая, провела она несколько месяцев в женевском госпитале и, убедившись в Женеве (в 1883 году), как Хоржевская в Томске (в 1886 году), как Бетя Каминская в Петербурге (в 1877 г.), как Батюшкова (в 1892 г.) *, что потерянных сил не вернуть, она покончила с собой, как кончали жизнь древние стоики, предпочитая свободу в смерти рабству в жизни...

Татьяна Лебедева. И странное дело, люди сильные, испытанные, как Бардина, Чикоидзе, Т. Лебедева, одинокими бродили по Руси и за ее рубежом, а какой-нибудь Дегаев вращается в самом центре конспиративного круга и выдает всех и вся. Я не могу забыть трагической фигуры Лебедевой. Бесприютная и одинокая, бродила она по Петербургу летом 1881 г., негодующая и возмущенная. Она была оторвана от всех и, преследуемая полицией, ходила, как приговоренная к смерти, пока почти добровольно не отдалась властям, отправившись на вокзал, бессильная спастись от преследующей ее полиции. Искать приюта у людей легальных и с положением в то время страшного общего перепуга было нельзя, у молодежи, всегда готовой на жертву, пристанище было опасное и для нее, и для них. После мая месяца 1881 года из нелегальных в Петербурге проживали только Тихомиров, Лебедева и я. Тихомиров давно уже всех сторонился и не хотел помочь Т. Лебедевой, хотя и мог. Знакомства его были обширны, он был петербуржцем еще со студенческой скамьи и жил почти безвыездно в этом городе; но, очевидно, он не рассчитывал в то время на христианские чувства своих знакомых. Я не помню, где и как я встретилась тогда с Лебедевой, но, когда узнала ее положение, предложила ей приют у себя, но приют этот не был надежен и вот почему.

Имея вполне легальный паспорт, я вела довольно обширные знакомства больше в студенческом кругу и, кроме того, вела переписку с Морозовым, сидевшим уже в Доме предварительного заключения, передавая ему письма через жену А. И. Иванчина-Писарева [153], сидевшего в то время также в Доме предварительного заключения. За всеми лицами, посещавшими заключенных, могли следить, и хотя я передавала письма не непосредственно, а через М. П. Лешерн [154], но все же за абсолютную

* Все перечисленные женщины принадлежали к процессу 50-ти.

неуязвимость поручиться было нельзя. Кроме того, посещая несколько раз студентку Розу Личкус, двоюродную сестру жены Сергея Кравчинского, на адрес которой я ждала уведомления о моем ребенке, я раз чуть было не была захвачена там.

Я только-что вошла к ней часа в два дня и с тупым недоумением читала переданную ею мне Розой телеграмму, очень туманно составленную, роковой смысл которой я как-то не умела понимать. Раздался звонок, я смотрела с площадки парадной лестницы вниз; через стекла подъездной двери вижу полицию. Я смотрю с недоумением и ничего не понимаю; Роза выбегает, сама смотрит и взволнованно говорит:

— Ступайте скорей, это с обыском.

Я, как была в летнем ситцевом платье, не захватив ни шляпы, ни накидки, выхожу с телеграммой в руке на заднюю лестницу и спускаюсь во двор; на лестнице встречаю чью-то горничную, тоже с непокрытой головой, как и я; это дает мне решимость выйти так на улицу; полиции у ворот поставить еще не успели, и я ушла. Со мной было всего несколько копеек денег для конки; я покупаю за 10 коп. маленький платочек в рядах близ Кирочной (Роза Л. жила на Кирочной) и, покрывши им голову, иду пешком в Новую Деревню, где я жила в маленькой чердачной комнатке. Дорогой разражается неимоверный ливень и ураган с крупным градом; в одно мгновенье меня промочило до костей; я прячусь под навес какого-то подъезда, чтобы переждать бурю, которая прямо валила с ног. Ураган промчался скоро, но, вся измокшая, без шляпы, с облегавшим мне ноги мокрым платьем, я не знала, как показаться моей хозяйке. Но она, завидев меня в таком жалком положении, сама подсказала:

— Что, буря унесла у вас шляпу?—спросила она, и тем избавила меня от необходимости придумывать объяснения.

Да, судьба мне покровительствовала даже в несчастии: в эту минуту не только придумывать объяснение, но я не могла просто говорить.

Я не знаю, как я не схватила горячки; я целые часы просидела не переодеваясь над роковой телеграммой; я, наконец, поняла, что дочери моей нет в живых. Я не плакала, я отупела от горя. Меня спасла в то время еще не покидавшая надежда устроить побег Н. Морозова. Я уже делала некоторые приготовления к этому и списывалась с ним о плане, но я все-таки потеряла на время прирожденную мне предусмотрительность. Мысль о смерти ребенка туманила мне голову; идя по улице, или сидя в конке, я без муки не могла встречать маленьких детей; их веселые, милые лица терзали мне сердце, напоминая

мою погибшую дочь; это мешало мне свободно всматриваться в людей, проникать в их чувства и мысли.

Владимир Дегаев. Раз как-то одна из молодых знакомых моих, кажется, студентка Никитина (с ней и с другой подругой ее, юной, горячей, самоотверженной и крупно одаренной З. Зацепиной, я тогда чаще других виделась), сообщила мне, что меня очень хочет видеть молодой Владимир Дегаев[155], с которым они говорили в общих чертах, и который, де, готов ради Морозова на самое рискованное дело. Владимира Дегаева я почти не знала, но я знала его семью, состоявшую из матери, двух сестер и брата Сергея, где, по рекомендации Веры Фигнер, прожила даже несколько дней во время моего приезда в Петербург в конце января и первых числах февраля 1881 года и не раз беседовала со старшим братом его, Сергеем Дегаевым, тогда почему-то тащившим меня на студенческую сходку, куда я, впрочем, не пошла с ним, и уговаривавшим даже меня остаться на несколько дней до студенческого акта, где, он, вероятно, знал, что будет история с министром Сабуровым.

По приезде в Петербург в мае 1881 года, я к ним как-то не собралась, но слышала, что старший брат был арестован, но выпущен и находится в какой-то ученой экспедиции в Архангельске. Когда вместе с вышеупомянутыми студентками я встретилась где-то за городом под открытым небом с Владимиром Дегаевым, он предложил мне свои услуги для освобождения Морозова, очень рассыпался в уважении и любви всей семьи к нему (Морозов знал Дегаева раньше), и задал мне естественный вопрос, где он теперь сидит и есть ли с ним сношения. Я сказала, что есть и что он в Доме предварительного заключения. Этого было достаточно, чтобы через несколько дней Морозова перевезли в крепость. Когда я написала ему следующее письмо, мне его вернули и сказали, что он уже в крепости; я так и не знаю, получил ли он предыдущее, где я уведомляла его о смерти дочери. Так кончились мои бесплодные усилия вырвать его из тюрьмы. Предательство завершило все другие неудачи. Я сама оставалась, однако, свободной, хотя после ареста Розы Личкус, в особенности после того, как старшая сестра ее Александра настояла через посредников, чтобы я повидалась с ней, и мне отказать ей было неловко, хотя свидание это было совсем ненужное (она хотела передать мне шляпу и накидку), и я от него несколько раз отказывалась, за мной, мне показалось, стали следить, что принудило меня для испытания переехать из Новой Деревни совсем в противоположную сторону—на Охту, где я опять поселилась за несколько рублей в месяц. Там было то удобство, что в город приходилось переезжать на ялике через

Неву, и шпиона всегда можно было заметить. В городе за мною следили во многих местах,—я это видела,—но ко мне на Охту шпионы еще не проникали.

Арест Татьяны Лебедевой. Я прожила почти месяц спокойно. Мы встречались несколько раз с Татьяной Лебедевой. От нее я узнала, что сношения с крепостью погибли после ареста Перовской, при которой нашли адрес унтер-офицера, через которого велись эти сношения. Богородский был также арестован, и надежд завести переписку с крепостью пока не было. Лебедева жаловалась мне, что бесконечно истомилась вечным преследованием по пятам полиции; что иногда ей приходила мысль самой отдаться в ее руки, так она устала, и так ненужно теперь ее существование. На товарищей она не надеялась, им самим было скверно, да их, старых товарищей, здесь и не было, кроме Тихомирова, который не хотел даже принять ее. Эти речи приводили меня в ужас; нужно было что-нибудь предпринимать, я боялась, что она покончит с собой, и предложила перебраться ко мне, и хотя я, кажется, в городе и сама была на примете, но у меня в захолустьи еще не замечена. Мы условились, что она придет ко мне; я научила ее, как переехать через реку на ялике; она почему-то этого не сделала и отправилась кружным путем через Литейный мост; она была так утомлена и физически и душевно, что малейшее новое непривычное усилие, незнакомый путь—были ей уже не по силам, и она поехала на извозчике до какого-то места, а потом пошла ко мне пешком. Это было уже к вечеру, но еще светло. Я сидела на балкончике своего чердака и наблюдала улицу. Я увидела Т. Лебедеву очень издалека и к моему горю заметила, что она не одна, а за ней идет упорно какой-то субъект, следя за всеми ее движениями: так, она зашла в лавочку—и он за нею; она остановилась—и он тоже,—это был плохой знак. Делать было нечего, она едва передвигала ноги и зашла ко мне, итти дальше у нее, очевидно, не было сил. Я сообщила ей мое наблюдение, она согласилась, что это подозрительно, и пожалела, что не исполнила моего совета.

Эту ночь она провела у меня, но на утро опять ушла в город, и ко мне часов в 12 этого же дня в пустую комнату рядом вдруг переехал какой-то жилец, молодой человек как бы из приказчиков, и с ним женщина с истрепанным и наглым лицом, значительно старше его. Эти новые жильцы, убравши свой скарб, бесцеремонно постучались ко мне под каким-то предлогом и старались завести знакомство. Я выдавала там себя за частную учительницу, и они расспрашивали, у кого учу, за какую плату и прочее. Я насилу отделалась от них и пошла в город сообщить эту новость.

Т. Лебедева получила как-раз в этот день письмо из Москвы от товарищей, где ее звали выбраться из Петербурга. У нее другого выхода не было. Но как спасти ее от шпионов, которые преследовали ее по пятам? Тут было пущено все: и проходные дворы, и пассаж, где у меня был знакомый магазин, через который можно было выйти незаметно, но ничего не помогло, и, когда она подъехала к вокзалу, ее схватили; я сама провожала ее издали и видела всю эту сцену, беспомощная помочь ей. Вернулась я домой поздно; мои новые соседи, переехавшие на дачу, глядя на осень (это было в конце августа или начале сентября), напились и шумели, перерутиваясь друг с другом; из их отношений видно было, это не семья, а мошенническое сообщество.

Я понимала, что мне нужно было подумать и куда-нибудь убраться, пока есть время, но сделать это сейчас же не могла. Через несколько дней после того, совершенно неожиданно для меня, приехал в Петербург Герасим Романенко, о приезде которого в Россию я даже не знала, и настоял через знакомых, чтобы я встретилась с ним, и уговорил не ждать покорно гибели здесь, а перебраться в Москву, где теперь собрались многие. Я согласилась, предпочитая погибнуть, как говорится, с оружием в руках; но я не ждала ничего крупного в революционном отношении в это время, так как проездом в Москве весной я слышала речи:

— Александр III должен погибнуть уже не от руки революционеров, а от руки самого народа.

Я знала народ, была в его среде простой работницей и понимала, как несбыточны еще такие надежды, и я с грустью смотрела на ворох приготовлявшихся воззваний «К народу», «К обществу», «К офицерам» и проч., которые, я знала, не найдут сколько-нибудь широкого отклика. Правда, кое-где возникали еврейские беспорядки, и революционеры считали это симптомом назревающего революционного чувства; но такое уродливое и дикое проявление этих чувств, по-моему, совсем не давало надежд на будущее, потому что знаменовало разнузданность страстей, а не сознательное стремление к свободе и правде. Но я все-таки согласилась переехать в Москву, не зная еще, что буду там делать; мало того, я почти уверена была, что ничего большого сделать не придется, но мне не для кого и не для чего было беречь свою свободу: дело свободы русской, я чувствовала, отсрочено надолго, надолго; революционеры не вынесли ее еще на себе, и ей не быть скоро...

Мой второй приезд в Москву и арест. Прежде чем ехать в Москву, я по совету Романенко выдержала

несколько дней карантина в квартире одного присяжного поверенного, его товарища по университету, и затем, чтобы не быть схваченной на вокзале, как Лебедева, они проводили меня две станции на почтовых, едучи как-будто на охоту. Но и эти предосторожности не спасли. Пока я сидела взаперти, полиция, вероятно, не знала, в какой квартире я нахожусь, но как только я вышла, за мной опять стали следить. В одном вагоне со мной оказались опять какой-то сыщик с женой, которые старались сблизиться со мной и уговорили остановиться в одной гостинице; я притворно согласилась; но когда мы приехали вечером в Москву, я нарочно затерялась в толпе и, взяв извозчика, отправилась совсем в другую часть города. У меня уже не было настоящего паспорта, как в Петербурге, и в гостинице пришлось предъявить фальшивый. Когда на другое утро ко мне пришел Романенко (также вернувшийся в Москву с другим поездом), а затем и Вера Фигнер, я сообщила им о моих провожатых. Вера Фигнер обещала устроить досмотр за моей гостиницей и дня через два зашла и сказала, что за мной очень аккуратно следит Богданович[156] и нашел, что я от шпионов свободна; это обрадовало меня, но не совсем убедило. Я все-таки, однако, стала выходить, а ко мне заходил Романенко и Вера Фигнер. Но дни мои уже были сочтены; я не прожила и пяти дней в Москве; однажды днем, недалеко от моей гостиницы (на Большой Лубянке) ко мне подошел агент, проживавший у меня на Охте после посещения Т. Лебедевой, грубо остановил меня и стал кричать и звать полицию. Я хотела укрыться в случившуюся тут же парикмахерскую, но парикмахер, разъевшийся немец, стоявший на пороге, оттолкнул меня. Я опять очутилась на улице, собралась толпа, некоторые старались оттереть меня от сбежавшихся городовых, но мне укрыться было некуда, извозчика не было, и меня, наконец, взяли... О моем аресте я печалилась не много, но я боялась, что кого-нибудь заберут у меня: так и случилось. В мой опустевший номер зашел Романенко, и его там арестовали: по счастью, другие узнали довольно скоро, и больше никто не пошел...

Так кончилось мое земное существование в одну из самых печальных эпох русской истории. В Москве оставались люди, их было не мало; приехавший Стефанович помог объединить остатки «Народной Воли» с последними пережитками «Черного Передела», но это не спасло движения, ему нехватало ясно формулированной задачи дня; ему нехватало естественного единства действий, возможного только при общности чувств и настроений, а этого-то и не было. Надежда на народное восстание, навеянная, вероятно, влиянием Стефановича и легаль-

ных кругов, разделялась в глубине сердца очень немногими, а потому и не создала активного почина. Молчал народ, молчало лишенное инициативы общество, охваченное полной прострацией, а революционный круг, подточенный тайным предательством и нравственной разобщенностью, терял силы на вынужденную самозащиту, бессильный перейти к широкому действию и использовать величайший мировой акт, совершенный им. Литература наша плохо воспитала общество и еще хуже народ: не было ясного сознания, не было смелого почина, не было открытого голоса земли, свободного и независимого, не подтасованного, чуждого своекорыстным интересам. Революционеры свалили тяжелый камень, замыкавший вход в темницу, но узники испугались и, не зная, куда итти, так и остались они еще четверть века в своем подземельи, продолжая коснеть в смраде рабства и нравственного разложения.

Между тем, там, наверху, чутко прислушивались к голосам снизу; там чувствовали все величие исторического момента. И кто знает: будь свободный смелый широкий почин снизу, он избавил бы Россию от многих невзгод ныне. Это убеждение я вынесла из отношения властей ко мне, тогда арестованной, а следовательно, уже безвредной для них. Нужно сказать, что когда меня через два дня после ареста отправили в Петербург, то с первого же допроса я поразила властей (допрашивал прокурор палаты Добржинский) полным равнодушием к своей участи. Я не говорила моего имени просто из принципа, но они знали, кто я, так как московский жандармский адъютант Дудкин узнал меня лично — он отправлял нас в Сибирь — и, конечно, сообщил об этом в Петербург. При предъявлении свидетелям — квартирной хозяйке, где я жила с Морозовым и откуда вместе с ним спаслась, прислуге Квятковского и проч. — я не проявляла ни малейшего интереса, как-будто это было скучное, постороннее мне дело; я молчала, но не мешала обвинять меня.

Прокурор С.-Петербургской палаты Муравьев. Я заявила только, что принадлежу к террористической фракции революционной партии, что принимала нравственное участие в цареубийстве, и просила причислить меня к предстоящему процессу 22-х, но давать какие-либо разъяснения отказалась. Это взбесило прокурора палаты Муравьева [157] (впоследствии министра юстиции), который однажды сам присутствовал на моем допросе; он попытался со мной, как это он, говорят, делывал с другими, грозным окриком и угрозами заставить меня затрепетать, но я посмотрела на него таким изумленным спокойным взором, что он осекся, и с тех пор я его больше не видала.

Товарищ прокурора палаты Добржинский. Прокурор Добржинский, продолжавший следствие и вызывавший по обязанности дальнейших свидетелей с Охты и пр., не оскорбился моим равнодушием к следствию, а стал относиться ко мне вдумчиво; не видя противодействия обвинению очень серьезному,—по 249 ст. Улож. вечная каторга и даже смертная казнь, — напротив, видя с моей стороны желание во что бы ни стало быть судимой, в нем пропало все рвение следователя, и он заинтересовался мной просто как человеком. Это понятно: перед ним проходило так много людей, и людей очень крупных, уже отдавших и теперь отдававших свою свободу и жизнь за идею, что эта идея не могла не интересовать его, и он хотел уловить ее в ее различных выразителях. Он стал говорить со мною не как с обвиняемой, а как с любопытным для него человеком. Я тоже не считала нужным скрывать даже перед врагом свои политические взгляды; мы говорили не о лицах, а об идеях и общеизвестных фактах, то-есть о том, о чем можно говорить с каждым, предупредив Добржинского. что говорю не от партии, а от себя лично.

— Скажите,—говорил он,—чем возмутил против себя государь Александр II, такой добрый, гуманный, давший свободу крестьянам-рабам?

— А тем, — ответила я, — что 19 февраля он сделал только то, что могли сделать без него и сами помещики, как это было в других землях, и чего, пожалуй, без них он не смог бы сделать, а то, что было только в его собственных царских руках,— гражданская политическая свобода всего русского народа, всех его классов, — это сокровище он предательски убивал во всю свою жизнь и, убивая свободу, он убивал душу народную; он, как скупец, запер свободу в подземелье под десятью печатями, охраняя ее виселицами и разнузданностью опричников. Вот и восстали мстители за поруганную свободу, и Александр II пал от их руки. Это была роковая, неизбежная логика истории. Его жаль как человека, но как властитель он виноват. Видя свой трон колеблющимся, царь призвал на защиту его Лорис-Меликова, годного скорее в начальники охранного отделения, чем в диктаторы, и тем самым подписал себе смертный приговор. Диктатор гонялся за революционерами, заигрывал с легальной литературой, кроил жалкие проекты совещательного совета, в роде теперешнего Государственного совета, вместо народного представительства, а рок истории шел своим неотвратимым шагом и... совершился. Никто не верил сыщику, никто не верил известному предателю, препровождавшему в просверленных судах в Турцию мусульман, горцев Кавказа, бросавших имуще-

ство и веками насиженные земли, чтобы предательски погибнуть на пути.

И странно мне было говорить так с моими врагами, но я говорила с ними, как человек, отрешившийся от жизни, как человек, порвавший счеты с землей. Они это чувствовали, они чувствовали, что для меня уже нет ни друзей, ни врагов, а есть одно великое горе, — горе родины, близкой нам всем. И странное дело, я подметила и в них отзвук неподдельного чувства к народному горю. Они тоже были утомлены борьбой, утомлены кровью, которую они проливали.

— Скажите, на чем помирилась бы революционная партия, на каких условиях она отказалась бы от террора; нельзя ли установить перемирие хотя бы до коронации? — спрашивал меня Добржинский...

— На условиях свободы слова и собраний для народа, на условиях общей амнистии для осужденных,— сказала я, предупредив, что я говорю, конечно, не от партии, а свое личное мнение.

— Напишите письмо государю и изложите то, что говорили нам, — предложил он мне.

— Нет, я писать государю не стану, в моем положении человека не свободного писать государю нельзя: не зная меня, он неверно истолкует мои мотивы, и это не приведет ни к чему,— отвечала я.

— Нет, ваше имя знакомо государю, и он внимательно отнесется к вашему письму...

Я все-таки отказалась, боясь, что это письмо ляжет только пятном на мое имя, что в революционном кругу его сочтут за преклонение перед царской властью, и ничего не поправит. Через несколько дней совершилось покушение Санковского и Мельникова [158]. Прокуроры были потрясены. Вопреки обычаю политических следователей, Добржинский, вытребовав меня для предъявления какого-то свидетеля, сообщил мне факт этого нового покушения.

— Очевидно, — сказал он, — партия начала опять свои действия.

— Знаете, — сказала я, — что это не действие партии, а больше того: это взрыв стихийного народного гнева. Санковский и Мельников совсем не принадлежат к именам, известным партии. Для вас это, конечно, еще хуже. Вы видите: сколько бы вы ни боролись, а политические условия создают, неведомо откуда и как, все новых и новых мстителей.

Добржинский задумался; на этом разговор и оборвался. В тот же вечер за мною пришел жандармский офицер и куда-то повез меня. Я знала, что это не в другую тюрьму (я сидела еще при жандармском управлении), потому что в тюрьму не перевозят без вещей, а мои вещи остались в той же камере.

«Куда же везут меня?» с изумлением спрашивала я себя, и не могла найти ответа. Офицер упрямо молчал и не внушал мне доверия. Воображение подсказывало пытку.

Начальник жандармского управления Судейкин[159]. Офицер, провожавший меня, был, как я потом узнала, Судейкин. Он и раньше несколько раз заходил ко мне в камеру, вел разговоры о нелегальной литературе, которую он очень недурно знал, но которую понимал вкривь и вкось, на что я ему несколько раз и указывала. Его внешность совсем не соответствовала тому представлению, которое раньше сложилось у меня понаслышке. Высокий, стройный, еще молодой, он был полон энергии и самоуверенности.

— Я не изверг, — говорил он обыкновенно, — я по убеждению борюсь с вами, революционерами, — и пытался обосновать свои взгляды теоретически, но, по-моему, очень слабо, что, кажется, замечал и он сам.

Он был человеком несомненно умным, но теоретически не очень развитым. Может быть, если бы я с первого раза знала, с кем мне приходится говорить, я бы отнеслась к нему сурово, но я видела в нем просто жандармского офицера, а между ними, как это ни странно, я встречала порядочных людей, а не только тупых, закоренелых извергов. Судейкин был человеком смелым и прямым, что заставляло забывать его мундир. Но в ту минуту, как он вез меня куда-то вечером в карете, я смотрела на него подозрительно. В 1881 году о пытках ходили слухи, говорили, что пытали Рысакова[160], Тимофея Михайлова[161] и других, но я почему-то безотчетно не верила этим слухам, а теперь... «Но куда же, куда везут меня?..». Сквозь замерзшие стекла кареты я не узнавала улиц. Переезд был не велик, но я томилась неведением, и он показался мне длинен. Когда мы вышли из кареты, я увидела обширный двор какого-то мне незнакомого здания; но это ничего не говорило мне. Впоследствии я узнала, что это знаменитый дом у Цепного моста, где раньше помещалось Третье отделение, переименованное в 1881 г. в Департамент государственной полиции. Меня привели в какую-то залу и оставили одну. «Хоть бы уйти, мелькнула мысль». Но куда? Я здания совсем не знала.

Директор департамента государственной полиции фон-Плеве. Через несколько минут вошел какой-то человек и ввел меня в обширный деловой кабинет с большим письменным столом посередине и клеенчатой мебелью. Из-за стола поднялся плотный представительный господин с умным, несколько откинутым назад лбом и выразительными глазами.

— Директор департамента — Плеве [162], — отрекомендовался он, протягивая мне руку, и попросил сесть.

Я села и вопросительно посмотрела на него.

— Простите, — сказал он мне, — что я побеспокоил вас, но я хочу предложить вам еще раз то, что советовал вам сделать Добржинский: напишите государю искреннее письмо, ваши чувства и мысли. Государь любит народ и весь проникнут желанием сделать все возможное для блага его.

— Нет, в моем положении писать государю я не могу,— отвечала я, и он на минуту смолк, видя бесполезность настаивать. Затем он, переменив разговор, стал спрашивать, что говорят о завершившихся уже процессах.

— Правда, нас называют извергами, но зато никто не может обвинить нас в судебных ошибках, — говорил он.

— Нет, вы ошибаетесь, и ошибаетесь очень серьезно. Вот хотя бы взять доктора Веймара [163], — сказала я, — он осужден за участие в Мезенцовском деле и в деле Соловьева, между тем ни в том, ни в другом он не участвовал. Лошадь «Варвар» была куплена им задолго раньше для освобождения Кропоткина, а револьвер, которым стрелял Соловьев, куплен был не для Соловьева, а значительно раньше для другого лица и для цели самозащиты.

Это указание крайне взволновало Плеве.

— Неужели это так, неужели это так? — переспрашивал он.

— Мне нет нужды извращать вам истину, — сказала я, — тем более, что доктор Веймар уже осужден, и мое указание судьбы его не изменит...

Плеве сообщил мне дальше, что теперь Третьего отделения больше не будет, что дело политических следствий будет поставлено на строго законную почву и что это, по его мнению, гарантируя от произвола, значительно успокоит общество; кроме того, он уверял, что государь против смертных казней, и что больше казней не будет. Это не было правдой; через несколько месяцев был осужден Суханов [164] и затем казнен. Говоря о казнях, я заметила, что казни вредят самому правительству, созда-

вая мученичество, а мученичество вызывает поклонение и невольное подражание.

— Я смотрю на государственных преступников, как на честолюбцев, — заметил он на это. — Неправда ли, ведь каждый мечтал попасть трибуном в парламент?

— Я ни от кого этого не слыхала,— заметила я.— Ну, хорошо, если, положим, мужчины могут мечтать о роли в парламенте, а женщины, как вы думаете, мечтают о том же?— спросила я.

Плеве очень сконфузился и сказал, помолчав:

— Ну, женщины другое дело.

И он смолк. Мы простились, и меня опять отвезли в жандармское управление. На другой день Добржинский говорит мне:

— Я уполномочен сообщить вам, что мы можем освободить вас на честное слово, если вы возьметесь переговорить с партией «Народная Воля» и узнать, на каких приемлемых условиях она может приостановить свои террористические действия. Так, например, удовольствовалась ли бы она широкой амнистией?

Я отвечала, что вряд ли: амнистия — цель только эгоистическая для партии, она захочет наверно и каких-нибудь общих мер, как свободы слова и собраний, дабы народ мог свободно высказывать свои желания.

— Возьмитесь переговорить с партией; если требования не будут чрезмерными, государь удовлетворит их, — сказал Добржинский.

На мои возражения, что, выйдя на честное слово и сносясь с партией, я могу сгубить ее, так как за мной могут следить, Добржинский сказал:

— Ну, если вы этого боитесь, снеситесь с партией через заграницу, поезжайте за границу.

Я попросила подумать; я сейчас же решила для себя, что, в виду моих несколько натянутых отношений с партией после тихомировского инцидента с программой партии, лично мне браться за это не следует, но я понимала, что из этих переговоров может выйти очень благодетельный результат для исстрадавшейся родины нашей, и мне страстно захотелось попытать все возможное. Я вспомнила, что одновременно почти со мной арестован Г. Романенко, что его отношения к партии, как человека еще свежего в ней, совершенно нормальные, и потому решила передать эту миссию ему; он был человек хорошо образованный и умный и, мне казалось, тактичный. Я сообщила Добржинскому, что его предложение гораздо легче выполнить муж-

чине, и потому я прошу дать мне свидание без свидетелей с Романенко и позволить переговорить с ним. Свидание это мне дали через несколько часов. Романенко был неимоверно удивлен, но он слишком хорошо знал меня и верил мне, чтобы сомневаться. Я второпях передала ему сущность и условия поручения; я в особенности указывала ему, что я не преувеличивала силу партии, напротив, видя и без того сильный престиж партии, я говорила, что партия сильна не числом, а идеей, и в особенности ничем не грозила от имени партии. Только на такой почве, казалось мне, возможно было прийти к какому-нибудь благому результату; если бы, например, кроме общей амнистии, дали бы свободу слова и собраний, это оздоровило бы нравственно страну и естественно привело бы впоследствии к политической свободе. Я говорила с Романенко торопливо и волнуясь; было поздно, времени было немного. Не знаю, моя ли то вина, что я не умела объяснить суть моих разговоров с Добржинским и Плеве, или Романенко, как человек в деятельности еще не очень опытный, слишком резко поставил большие требования, или стал играть на угрозах, но переговоры сейчас же порвались, и почему, — я не знаю [165]; Добржинский отвечал мне уклончиво.

Эпилог. Меня скоро увезли в крепость, и оттуда я написала письмо Сергею Кравчинскому, конечно, не на его настоящее имя. Это удалось мне сделать потому, что при мне нашли письмо Сергея Кравчинского о моем ребенке, где он уведомлял о его смерти и утешал меня. Письмо это он подписал «твой брат Сергей». Так я и назвала его своим братом. В официальном письме я писала ему только о себе, но между строк при помощи крупинки одного химического вещества я написала ему о всех бывших у меня переговорах в надежде, что, может быть, они возобновятся и что-нибудь из них выйдет. Я до сих пор не знаю, прочел ли Сергей то, что было написано между строк химически; очень может быть, что из тюрьмы он химического письма не ожидал и не догадался смочить его реактивом. Но на открытый текст я очень скоро получила ответ и получила от него на память итальянский словарь, который я до сих пор сохранила, несмотря на все превратности моей дальнейшей судьбы.

Через два года, уже в Иркутске, где я сидела проездом в дальнейшую ссылку, куда, вопреки моему настойчивому требованию, меня отправили без суда, так как уже раньше я была осуждена и лишена всех прав состояния по процессу 50-ти, я получила от Сергея Кравчинского еще письмо и прекрасно засушенный букет эдельвейсов, как память о Швейцарии, память

о былом. Эдельвейсы были наклеены на черном картоне, рельефно выступая своими безжизненными белоснежными головками; они казались мне эмблемой смерти...

Десять лет спустя, в Лондоне, шагая в рассеянности через полотно железной дороги, мой бедный брат Сергей погиб раздавленный поездом, погиб так ужасно, так безвременно. Могилы Перовской, Геси Гельфман, Кибальчича, Желябова и других, погибших на эшафоте, в стенах Шлиссельбурга, центральной харьковской тюрьмы и далекой Кары, стерты с лица земли, — но дела их будут долго жить в памяти народной, как и их имена, стертые когда-то с могильных крестов, будут запечатлены крупными буквами на страницах истории.

Тифлис, 30 марта 1906 года.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Былое». Журнал по истории революционного движения XIX и XX вв. России. Основан в 1900 г. В. Бурцевым за границей. С 1906 г. издавался в Петербурге при соредакторстве В. Я. Богучарского и П. Е. Щеголева. В 1907 г. журнал был закрыт, взамен вышли «Наша Страна» и «О минувшем», а в 1908 г. «Минувшие Годы». Закрыт навсегда с 1909 г. Снова вышел в 1917 г., продолжая издание до 1927 г. Журнал защищал взгляды радикальной народнической интеллигенции. Вначале проповедывал террор, как средство добиться политической свободы, а с 1917 г. осуждал большевизм. Впоследствии, свободившись от влияния В. Бурцева, печатал ряд интересных исторических материалов, но его политическое направление мало изменилось.

2. Джабадари Иван Спиридонович (1852—1913). — Выходец из дворянской семьи. Не окончив Медико-хирургической академии, уехал за границу, где встречался с участниками впоследствии процесса 50-ти. Возвратился из-за границы в 1874 г. и вскоре был арестован. Его обвинили в пропаганде и распространении среди рабочих московских фабрик книг революционного характера. Судился в 1877 г. и был приговорен к пяти годам каторжных работ. В 1880 г. из Ново-Белгородской каторжной тюрьмы увезен на Кару, где в 1883 г. вышел на поселение. В своих воспоминаниях, напечатанных в «Былом» (1906 г., № 5 и 6), он описывает все мытарства революционеров в условиях неволи.

3. Кравчинский (Степняк) Сергей Михайлович (1850—1895).— Вступив в кружок чайковцев в 1872 г., принимал деятельное участие в пропаганде среди рабочих, затем одним из первых ушел в народ. Во время массовых арестов 1874 г. бежал за границу, где провел несколько лет, в течение которых, впрочем, приезжал нелегально в Россию. За границей Кравчинский участвовал в Герцеговинском движении, в попытке восстания в Беневенто (Италия); в 1878 г. принимал участие в редактировании журнала «Община» в Женеве. В том же году вернулся в Петербург и здесь ударом кинжала убил шефа жандармов Мезенцова. После того прожил еще некоторое время в Петербурге, приняв участие в редактировании первого номера органа «Земля и Воля», а осенью снова уехал за границу, где проявил себя как крупная литературно-публицистическая сила, дав ряд книг и статей о России и русском революционном движении, в том числе несколько беллетристических произведений («Подпольная Россия», «Андрей Кожухов». «Штундист Павел Руденко»).

4. Засулич Вера Ивановна (1851—1919). — Впервые арестована в 1869 г. по делу последователя Бакунина—Нечаева, и в 1871 г. освобождена; оставалась под надзором полиции до 1875 г. Вначале была выслана в Тверь (1871 г.), оттуда в 1872 г. в Солигалич и в 1873 г. — в Харьков. Вступает впоследствии в кружок киевских бунтарей. Узнав о наказании розгами Боголюбова 24 января 1878 г., стреляла в Трепова и ранила его. Суд присяжных оправдал Засулич. После освобождения жандармы пытались ее снова

задержать, но она эмигрировала. Вернувшись, была в числе первых работавших чернопередельцев, а в 1880 г. снова уехала за границу. Здесь активно участвовала в Красном Кресте «Народной Воли». В 1883 г.—одна из учредителей «Группы освобождения труда»—первой марксистской группы рабочей партии России. Перевела на русский язык ряд произведений Маркса. В конце 1900 г. была членом редакции «Искры». После раскола на II съезде партии в 1903 г. была среди лидеров меньшевизма, а затем ликвидаторства. В 1905 г. вернулась в Россию после амнистии. Во время реакции 1907—1910 гг. была в рядах ликвидаторов. Во время войны 1914 — 1918 гг. вместе с Г. В. Плехановым занимала ярко оборонческую позицию. Во время Октябрьской революции была, подобно всем меньшевикам, противницей диктатуры пролетариата.

Умерла в 1919 г. в Петрограде.

5. Ковальский Иван Мартынович (1850—1878). Видный южный революционер-бунтарь. Организатор одесского революционного кружка. Оказал при аресте вооруженное сопротивление, был расстрелян в Одессе по приговору военно-окружного суда 2 августа 1878 года. 24 июля при об'явлении приговора Ковальскому в Одессе произошли уличные волнения.

6. Мезенцов Николай Владимирович (1827—1878). Генерал. Главный начальник 111 Отделения и шеф жандармов. 4 августа 1878 года был убит С. М. Кравчинским на улице Петербурга.

7. Фигнер Вера Николаевна (род. в 1852 г.). Из дворян. Училась в Швейцарии в университете. Там вступила в один из русских социалистических кружков. В 1875 г. уехала в Россию для работы в народе. Видя невозможность революционой работы в условиях царизма и неподготовленность крестьянства к идеям социализма и революции, В. Фигнер после раскола «Земли и Воли» вступила в «Народную Волю». Принимала самое близкое участие во всей террористической и пропагандистской работе партии. Когда в 1882 году вожди «Народной Воли» были арестованы. вся тяжесть работы легла на В. Фигнер, избегшую ареста. Выданная Дегаевым, арестована в Харькове 10 февраля 1883 г. В 1884 году приговорена к смертной казни, замененной 20-летней каторгой. Сидела в Шлиссельбурге до 1904 г., когда была освобождена. В настоящее время живет в Москве и занята литературной работой. Автор чрезвычайно ценных и ярко написанных книг, посвященных ее прежней революционной деятельности (в особенности «Запечатленный труд». Всего вышло 6 томов ее сочинений). Активная работница Общества политкаторжан.

8. Процесс пятидесяти (Дело о пропаганде среди крестьян и рабочих, распространении нелегальной литературы и т. д.). Участники процесса принадлежали к «кружку москвичей». Поступая в качестве простых рабочих и работниц на фабрики, они вели революционную пропаганду большей частью среди московского фабричного населения. Арестованные в числе пятидесяти, после двухлетнего тюремного заключения, были преданы суду Особого присутствия Сената (21 февраля—14 марта 1877 года). Процесс произвел огромное впечатление на общество, особенно произнесенными на суде речами С. И. Бардиной и рабочего П. А. Алексеева. По суду участники процесса приговорены в большинстве к ссылке на каторгу.

9. Фигнер Лидия Николаевна (1854—1918). Народница-пропагандистка. Находясь в Цюрихе, куда отправилась вместе со своей сестрой, Верой Николаевной Фигнер, вошла в кружок «Фричей». По приезде в Россию сделалась одной из деятельных членов «кружка москвичей». В 1875 г. работала простой работницей на фабрике Гюбнера в Москве, а затем в Иваново-Вознесенске, ведя пропагандистскую работу среди рабочих. В августе 1875 г. была арестована, судилась по процессу пятидесяти и пригово-

рена к каторжным работам, замененным поселением в Сибирь, где пробыла семнадцать лет.

10. Лешерн фон-Герцфельд Софья Александровна (1838—1898). Дочь генерала, народница-пропагандистка, член кружка Ф. Лермонтова в Петербурге. По делу 193-х приговорена к ссылке на поселение, но ссылка потом была отменена. Примкнула к группе В. Осинского в Киеве. Арестована в Киеве в феврале 1879 года. По процессу В. Осинского и Волошенко приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой, которую отбывала на Каре, а затем с 1894 года на поселении в Селенгинске, Забайкальской области, где и умерла.

11. Процесс 193-х был в 1877 году и продолжался три месяца. Большая часть из судившихся лиц была заарестована в 1874—1876 годах, в эпоху хождения в народ. Обвинительный акт был составлен так, что содержал не только обвинения в том, что подсудимые вступали в «преступные» беседы с крестьянами, давая им книги для чтения, агитировали среди молодежи, чтобы она шла в «народ», но пытался и морально их опорочить. Революционеры надеялись, что процесс оживит революционное движение страны. Действительно, процесс привлек внимание общества, особенно речью Мышкина, обрисовавшего политический произвол, господствующий в стране. За эту речь Мышкин был сослан в каторгу. Тринадцать обвиняемых были приговорены к каторжным работам, двадцать человек — к ссылке на поселение, остальные — к краткосрочному тюремному заключению. Многие из оправданных были сосланы затем в административном порядке.

12. Осинский Валерьян Андреевич (1853—1879). — Выдающийся революционер. Один из учредителей «Земли и Воли». Действовал в Киеве от имени Исполнительного Комитета. Одним из первых стал склоняться к системе террора и борьбе за политическое освобождение. Организатор ряда террористических покушений на юге — на помощника прокурора Котляревского, жандармского капитана Гейкинга. Участвовал в освобождения Дейча, Бохановского и Стефановича из Киевской тюрьмы. Арестован в Киеве в январе 1879 года, причем оказал вооруженное сопротивление. Киевским военно-окружным судом приговорен к смертной казни. Повешен 14 мая того же года.

13. Субботины (сестры) Евгения, Надежда и Мария.—Находясь в Цюрихе, сошлись с членами кружка «фричей», а по приезде в Россию принимали деятельное участие в организации московского пропагандистского кружка. Особенно деятельное участие принимала Евгения Субботина, которая заведывала финансовой частью кружка. Судились по процессу пятидесяти и осуждены в ссылку на поселение в Сибирь.

14. Каминская Берта (Бети) Абрамовна. Дочь купца. Училась в Цюрихе, работала в типографии эмигрантского журнала «Вперед». В 1874 г. поступила работницей на ткацкую фабрику в Москве, по чужому паспорту. Вела пропаганду среди фабричных рабочих. 4 апреля 1875 г. арестована в Москве. Привлечена к дознанию по делу, получившему потом название «процесс 50-ти». Находясь в предварительном заключении, заболела психическим расстройством и была отдана на поруки отцу. Вследствие болезни не была предана суду вместе с другими. В 1878 г. покончила жизнь самоубийством. Душевное угнетение, приведшее ее к этому, возникло на той почве, что она не могла разделить участь своих товарищей.

15. «Община» — женевский журнал, издаваемый в 1878 г. группой бакунистов. В нем предоставлялись страницы для различных соц.-революционных течений.

16. Бардина Софья Иларионовна (1853—1883).—Училась за границей. В 1874 г. вернулась из Швейцарии в Москву, организовала кружок,

члены которого участвовали в «хождении в народ». Сама Бардина поступила работницей на фабрику и отсюда начала свою пропагандистскую деятельность. Арестована в 1875 г., судилась по процессу 50-ти. На процессе произнесла речь в защиту своих взглядов. Речь эта пользовалась большой популярностью в революционной среде. Осуждена была на 10 лет каторги, но приговор был смягчен и заменен ссылкой на поселение в Сибирь. С поселения бежала в 1880 г.; работала нелегально, а после 1 марта 1881 г. эмигрировала за границу. В 1883 году покончила жизнь самоубийством, вследствие тяжелой болезни.

17. «Чигиринское дело». — Так называют в истории русского революционного движения попытку группы южных народников-бунтарей (главным из них был Я. В. Стефанович) организовать революционный союз крестьян Чигиринского уезда, Киевской губ., пользуясь именем царя. Попытка эта относится к 1876—1877 гг. Стефанович привез из Петербурга подложную «золотую грамоту» от царя, в которой говорилось, что царь вполне на стороне крестьян и что их общие враги—помещики. Крестьяне приглашались образовывать дружины, вооружаться и ждать указанного момента. В 1877 г. произошли массовые аресты крестьян, и эта попытка революционеров опереться на царелюбивые инстинкты темной крестьянской массы была ликвидирована. В среде тогдашних революционеров не вызвала единодушного отношения: в то время как одни относились к ней вполне отрицательно, другие принципиально вполне одобряли такой способ действия.

18. Стефанович Яков Васильевич (1853—1915). — Активный участник революционного движения семидесятых и восьмидесятых годов. Вместе с известным бунтарем Дебагорием-Мокриевичем и другими положил начало южному бунтарскому кружку с базой в Киеве. Вместе с Дейчем и Бохановским сделал попытку поднять крестьянский бунт в Чигиринском уезде, Киевской губернии, при помощи подложных царских грамот. В 1877 году все трое были арестованы, но вместе бежали в 1878 году при содействии М. Фроленко, поступившего надзирателем в Киевскую тюрьму и скрывшегося вместе с освобожденными им товарищами. Из-за границы, куда Стефанович бежал, он вернулся накануне раскола общества «Земля и Воля», при чем после раскола участвовал в создании «Черного Передела». В 1880 году снова уезжает за границу, а по возвращении оттуда после 1 марта 1881 года вступает в Исполнительный Комитет «Народной Воли». Арестованный в феврале 1882 года, он в 1883 году осужден на бессрочную каторгу, замененную ему восемью годами каторжных работ, которые отбывал на Каре. В 1906 году издал «Дневник карийца». По предложению директора департамента полиции В. Плеве написал очерк о революционном движении в России, где обрисовал деятелей движения, чем оказал полиции немалую услугу.

19. Дейч Лев Григорьевич (род. в 1855 году).—Старый участник революционного движения с 1874 года. В 1875 году идет в народ, в 1876 году примыкает к киевскому кружку бунтарей, в 1877 году арестовывается за попытку совместно с Стефановичем и Бохановским поднять при помощи подложных царских грамот восстание крестьян Чигиринского уезда, Киевской губернии. В 1878 году бежал из тюрьмы в Петербург, а оттуда за границу. Вернулся в Россию в момент раскола «Земли и Воли» и был вместе со Стефановичем, О. Аптекманом и Г. Плехановым в числе учредителей «Черного Передела». В начале 1880 года уезжает за границу. Один из основателей группы «Освобождение труда», по делам которой едет в 1884 году в Россию, но по дороге его арестовывают в Германии и выдают царскому правительству как уголовного преступника, по обвинению в покушении на убийство предателя Гориновича в 1876 году. Суд приговаривает его к тринадцати годам и четырем месяцам каторги, которую он отбывает на Каре.

По выходе на поселение он в 1901 году бежит из Благовещенска за границу и принимает участие в организационных делах «Искры». В период революции 1905 года Дейч снова нелегально возвращается в Россию. В начале 1906 года его арестовывают и снова высылают в Восточную Сибирь, но с дороги он бежит за границу, где и пробыл до 1917 года, когда окончательно вернулся в Россию. Сейчас живет в Москве.

В период 1902—1917 гг. Дейч был меньшевиком, а в период войны— ярым социал-патриотом. В период Февральской революции Дейч был в числе особенно яростно травивших большевиков как немецких шпионов. В плехановской газете «Единство» он неистовствовал против большевизма, всемерно осуждая Октябрьскую революцию русского пролетариата. После Октября отошел от активной политики, но не выказал своего дружеского отношения к диктатуре пролетариата и занялся писанием мемуаров, разработкой материалов, относящихся к восьмидесятым годам, к группе «Освобождение труда» и т. д.

20. Михайлов Александр Дмитриевич (1855—1884).—Крупный революционер семидесятых годов, один из основателей «Земли и Воли». Работал среди раскольников, дабы вовлечь их в революцию. После разгрома землевольцев отказался от работы «в народе» и защищал террор. Много работал по организации террора. Принимал деятельное участие в Липецком и Воронежском съездах. Один из самых выдающихся членов Исполнительного Комитета и организаторов «Народной Воли». Арестован 22 ноября 1880 года. Судился по процессу двадцати народовольцев; в феврале 1882 года осужден к смертной казни, замененной бессрочной каторгой, и заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости.

21. Михайлов Адриан Федорович (1853—1929).—Революционер 70-х годов, землеволец. В 1878 г.—соучастник Кравчинского в убийстве Мезенцова (был кучером и удачно увез Кравчинского после покушения). В 1880 г. приговорен к смертной казни, замененной 20-летней каторгой, которую он отбывал на Каре. Последние годы жизни работал по кооперации на юге.

22. М. Ф. Фроленко говорит о неточности Любатович: бежавшего Кравчинского пули не преследовали. (Прим. к рукописи М. Фроленко).

23. Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921).—Анархист, известный научный и политический деятель. По возвращении из-за границы занимался главным образом пропагандой среди рабочих, читал лекции по истории Интернационала и рабочему движению в Западной Европе. В 1874 г. был арестован и заключен в крепость. Переведенный в 1876 г. в госпиталь, бежал за границу. Вернулся в Россию только в 1917 г.

За границей принимал активное участие в рабочем движении, написал ряд работ по политике, социологии, теории анархизма.

24. Слово «нигилизм» было введено в обиход И. С. Тургеневым, который окрестил этим именем особое умственное и нравственное течение, наметившееся среди русской интеллигенции в конце 50-х и начале 60-х годов. Слово «нигилизм» получило право гражданства сперва как бранная кличка, а потом как гордый ярлык той философской школы, которая одно время занимала самое видное место в русской интеллектуальной жизни. Настоящий нигилизм, каким его знали в России, был борьбой за освобождение мысли от уз всякого рода традиций, шедшей рука об руку с освобождением трудящихся классов от экономического рабства. В основе этого движения лежал безусловный индивидуализм. Это было отрицание, во имя личной свободы, всяких стеснений, налагаемых на человека обществом, семьей, религией. Нигилизм объявил войну не только религии, но и всему, что не было основано на чистом и положительном разуме; и это стремление, как нельзя более

основательное само по себе, доводилось до абсурда нигилистами 60-х годов. Так, они совершенно отрицали искусство, как одно из проявлений идеализма. В решении женского вопроса нигилизм оказал большую услугу России; он признал полную равноправность женщины с мужчиной. В дальнейшем нигилизм, как общественное течение, переходит в революционное, начинается эпоха «хождения в народ». Нигилисты—главным образом разночинцы, представители городской и сельской мелкой буржуазии—примитивные материалисты.

25. Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883). — Знаменитый русский писатель-беллетрист, давший в своих романах ряд типов «лишних людей», людей, не удовлетворенных окружающей их обстановкой дворянско-буржуазного быта, но не способных претворить свое недовольство в практическое дело переустройства общества. Отражая рост революционного протеста в среде демократической интеллигенции, Тургенев в своем романе «Отцы и Дети» нарисовал яркую фигуру «нигилиста», а в «Нови» неудачно пытался изобразить революционную среду. В своих общественно-политических симпатиях Тургенев представлял образец последовательного либерала «западника», не идущего однако дальше довольно умеренной программы политических реформ.

26. Морозов Николай Александрович (род. в 1854 г.). — В 1874 г. вступил в Москве в пропагандистский кружок чайковцев. Увлеченный общим потоком, «ходил в народ». Спасаясь от ареста, уехал за границу. В 1875 г. на обратном пути в Россию был арестован. Был в числе 193-х человек, судившихся за противоправительственную пропаганду. Суд, зачтя предварительное заключение, освободил его от наказания. Вступил в революционное общество «Земля и Воля». После раскола этого общества Морозов, стоявший на точке зрения террора, примкнул к «Народной Воле» активнейшим террористом. В 1881 г. его арестовали и приговорили к бессрочной каторге. Просидел все время в Шлиссельбурге и освобожден в октябре 1905 г.

Автор многих трудов по естественным наукам и по истории христианства. Живет в Ленинграде.

27. Кружок Чайковского.—О кружке Чайковского Шишко пишет (т. IV, стр. 140), что «кружок... названный так по имени одного из его основателей, возник весной 1869 года. Первоначальным организатором этого кружка был, впрочем, не Н. В. Чайковский, а двое очень известных в свое время людей, бывших студентов Медицинской академии. Чайковский вместе с А. Сердюковым были первыми из примкнувших к основателям этого кружка. Цель последнего понималась его основателями таким образом: они хотели создать среди интеллигенции и преимущественно среди лучшей части студенчества кадры революционно-социалистической, или, как чаще выражались тогда, истинно-народной партии в России. С этой целью первоначальными основателями кружка решено было вести систематическую пропаганду среди учащейся молодежи, устраивать кружки самообразования, землячества и так называемые коммуны, состоящие из более тесно связанных между собой товарищей».

28. Оболешев Алексей Дмитриевич (1854—1880).—Один из организаторов и энергичных деятелей общества «Земля и Воля». Арестован в октябре 1878 г. В мае 1880 г. приговорен к смертной казни, замененной 15-летней каторгой. Не открыл своего настоящего имени и судился под вымышленной фамилией «Сабуров». Умер вскоре после суда.

29. Натансон Ольга Александровна (урожд. Шлейснер) (1851—1880).—Член кружка чайковцев, одна из организаторов и наиболее деятельных членов «Земли и Воли». Арестована в октябре 1878 г. В мае 1880 г. приговорена к каторжным работам на заводах на 6 лет, замененным посе-

лением в Сибири. Умерла от развившейся в тюрьме болезни еще до отправки в ссылку.

30. Коленкина Мария Алекс. (1850—1926).—В 1873 г. вошла в пропагандистский кружок (киевская коммуна), ходила в народ; в 1875 г. вступила в кружок киевских бунтарей. После распада кружка вступила в организацию «Земля и Воля». Арестована в 1878 г., оказав вооруженное сопротивление. Была заключена в Петербургскую крепость, где находилась до 4 мая 1880 г., когда была переведена в Дом предварительного заключения. За принадлежность к тайному революционному сообществу предана военному суду, приговорена к 10 годам каторги. В январе 1885 г. выпущена в вольную команду. Умерла в 1926 г.

31. «Земля и Воля».—Народническая организация, возникла осенью 1876 г. в Петербурге (первоначальное название организации — «Северная народническо-революционная группа»). В центральное ядро «З. и В.» входили: Марк и Ольга Натансон, А. Михайлов, Д. Лизогуб, А. Квятковский, Г. Плеханов, Зунделевич, О. Аптекман, позже С. Перовская, Степняк-Кравчинский, Д. Клеменц, Н. Морозов, Л. Тихомиров. Организованная по принципам централизма и конспирации, «З. и В.» заводила связи среди молодежи, рабочих, крестьян, оказывая содействие стачечному движению (в 1878 и 1879 гг.) и организуя сеть поселений в деревне. 6/18 декабря 1876 года «З. и В.» была организована известная демонстрация на Казанской площади. Сближение «З. и В.» с рабочими дальше не пошло, и петербургские рабочие создали одновременно с «З. и В.» свою собственную организацию— «Северно-русский рабочий союз» (в 1873—1879 гг.; С. Халтурин, В. Обнорский). Организованные среди крестьян для агитации и пропаганды поселения постепенно вытеснялись и ликвидировались полицией. и к весне 1879 г. деревенская работа землевольцев, не приведя к всеобщему крестьянскому восстанию, оказалась сведенной к нулю. Одновременно с «З. и В.» на юге действовали родственные ей группы (Дебагорий-Мокриевич, В. Засулич, Стефанович, Дейч). «З. и В.» первоначально отрицала необходимость борьбы за политическую свободу, считая возможным непосредственный переход к социализму. Позднее под влиянием неудач взгляды «З. и В.» начали меняться, и идея политической свободы («конституция») получила некоторое признание. В качестве метода борьбы за политическую свободу был выдвинут террор. «З. и В.» и раньше прибегала в оборонительных целях к террористическим актам против отдельных представителей власти. Теперь же, после неуспеха социалистической агитации среди крестьян, в рядах «З. и В.» начал преобладать тот взгляд, что политический террор есть «осуществление революции в настоящем, самое страшное оружие для наших врагов, одно из главных средств борьбы с деспотизмом». Подобное заявление, сделанное на страницах официального «Листка «Земли и Воли» (№ 2 и 3). означало решительный поворот в тактике землевольцев. Состоявшиеся в июне 1879 г. съезды в Липецке и Воронеже санкционировали перемену методов борьбы «З. и В.», в связи с чем немного позже последовал раскол «З. и В.». Сторонники новой тактики (с Желябовым во главе) создали партию «Народная Воля»; те же землевольцы, которые хотели сохранить прежнюю землевольческую программу и тактику, составили группу «Черный Передел» (Плеханов, Стефанович, Дейч, Аптекман, Засулич, Аксельрод). «Земля и Воля» издавала «Начало», «Летучий листок» «Землю и Волю» (5 номеров с октября 1879 по апрель 1879 г.), «Листок «Земли и Воли» (6 номеров). «Черный Передел», просуществовавший несколько месяцев (прекратил свое существование в 1881 г.), не имел практического значения, явившись переходной ступенью для части землевольцев (Плеханов, Аксельрод, Засулич) от народничества к марксизму и социал-демократии. Группа выпустила 4 номера «Черного Передела» (Ленин, т. IV, стр. 619).

32. Цицианов Александр Константинович (1852—1885).—Князь, грузин, студент Московского университета. Арестован в 1875 г., при чем первый в России оказал при аресте вооруженное сопротивление. По процессу 50-ти приговорен к 10 годам каторги. До 1880 г. содержался в Ново-Белгородской центральной тюрьме, потом переведен на Кару.

33. М. Ф. Фроленко высказывает опасения, не напутала ли Любатович. «С князем Цициановым я виделся в 1928 г. на Кавказе». (Прим. М. Фроленко к рукописи).

34. Боголюбов Архип Петрович (настоящая фамилия Емельянов. Родился в 1852 году).—Землеволец. Занимался революционной пропагандой в Таганроге и в Ростове-на-Дону. За участие в демонстрации на Казанской площади 6 декабря 1876 года приговорен к пятнадцати годам каторги, был заключен в Ново-Белгородскую центральную тюрьму, где в конце 1886 года сошел с ума и был увезен сначала в Мценск, а оттуда—в Казанскую больницу для душевнобольных, где и умер.

35. Демонстрация на площади у Казанского собора 6 декабря 1876 г. была организована только-что образовавшейся «Северной революционно-народнической группой» (позднее принявшей название «Земля и Воля»). Демонстрация вышла очень немногочисленной, но она была устроена по инициативе рабочих и является первой рабочей демонстрацией. Оратором, произнесшим на площади у собора, под развернутым знаменем с надписью «Земля и Воля», небольшую речь, был Г. В. Плеханов—впоследствии один из основоположников русской социал-демократии.

36. Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918). Начал свою революционную деятельность как землеволец; много работал среди петербургских рабочих и был одной из главных литературных сил «Земли и Воли». После раскола «Земли и Воли»—чернопеределец. Эмигрант с 1880 г. В эмиграции скоро перешел на социал-демократическую точку зрения. В 1883 г. вместе с Засулич, Аксельродом, Дейчем и Игнатовым основал с.-д. группу «Освобождение труда». Теоретик революционного марксизма. В 1905—1907 гг.—один из главных столпов меньшевизма. В период реакции вел, в союзе с большевиками, борьбу с ликвидаторством. С начала мировой войны становится на крайнюю оборонческую и социал-патриотическую точку зрения. Основал группу «Единство». В 1917 г. вернулся в Россию и в газете «Единство» вел бешеную борьбу с большевиками. Умер в Финляндии.

37. Чернышевский Николай Гаврилович (1823—1889).—Виднейший публицист и идеолог шестидесятых годов, основоположник революционного социализма, руководитель журнала «Современник». Боясь его исключительного революционизирующего влияния на молодежь, правительство при посредстве подлогов и лжесвидетельств отправило его в 1864 году на каторжные работы, по окончании срока которых он был на долгие годы поселен в отдаленном и гиблом Вилюйске.

38. «Это был кружок Натансона-чайковца, и непонятно, почему Любатович приписывает ему нечаевские традиции, когда чайковцы совершенно отрицали нечаевские приемы». (М. Фроленко—примеч. к рукописи).

39. «Исполнительный Комитет Русской Социально-Революционной Партии».—Печать с таким названием ставили в 1878 г. южные бунтари на своих прокламациях и листках. Это была фикция: никакого комитета на самом деле не существовало. Позже это название было усвоено партией «Народная Воля».

40. Саблин Николай Алексеевич (1850—1881).—Начал революционную деятельность одновременно с Морозовым, вместе с ним уехал за границу и при возвращении арестован. Судился по процессу 193-х, при чем

ему было зачтено в наказание продолжительное предварительное заключение. После того продолжал революционную деятельность, вступив впоследствии в партию «Народная Воля», участвовал в ее террористической работе, в том числе в подготовке 1 марта 1881 г. Во время ареста 3 марта 1881 г. застрелился.

41. Синегуб Сергей Силыч (1853—1907). Революционер-семидесятник, зимой 1872—73 г. занимался пропагандой среди рабочих. Арестованный в конце 1873 г., судился по делу 193-х. Приговорен к 9 годам каторги, с зачетом предварительного заключения. Отправлен на Кару летом 1878 г., в 1880 г. вышел на поселение.

42. Тихомиров Лев Александрович (1852—1923).—В студенческие годы, 1871—1872 гг., активный член московского кружка чайковцев. В 1873 г. принимает деятельное участие в работе кружка, в частности в пропаганде среди рабочих. Большой популярностью среди пропагандистов середины конца 70-х годов пользовалось произведение Тихомирова «Сказка о четырех братьях» (Правда и кривда). В ней он рассказывает о путешествии братьев на восток, запад, север и юг. Они ищут правды, но повсюду видят безвыходное положение народа. Среди чайковцев он был известен под псевдонимом «Тигрыч».

Был привлечен вместе с другими чайковцами к делу 193-х, но отделался легким наказанием. Будучи отдан на поруки своему отцу,—старшему врачу крымского военного госпиталя,—он скрылся и перешел на нелегальное положение. С конца 1878 года принимает активное участие в создании новой революционной организации—партии «Земля и Воля», и вместе с Кравчинским, Плехановым и Н. Морозовым входит в редакцию ее органа—«Земля и Воля». В качестве яркого сторонника политической борьбы и террористических методов Тихомиров участвует на Липецком съезде в 1879 г., где выступает как застрельщик в расколе «Земли и Воли». Член Исполнительного Комитета «Народной Воли» со дня ее основания, Тихомиров играет руководящую роль в этой организации. Не принимая непосредственного участия в террористической борьбе, он уцелевает при разгроме «Народной Воли», последовавшем вслед за удачным покушением на Александра II (1 марта 1881 года). Вместе с В. Фигнер, Н. Морозовым, М. Ошаниной и др. он делает попытки восстановить организацию и продолжает редактировать ее орган—«Народную Волю». Эмигрировав в 1883 году за границу, он создает там при участии П. Лаврова «Вестник «Народной Воли». Разочаровавшись в террористических методах борьбы, он, под влиянием глубокого кризиса и разложения народовольчества, уходит от народовольческого движения и из вождя Исполнительного Комитета «Народной Воли» вскоре превращается в ярого защитника самодержавия. После опубликования им в 1888 году брошюры «Почему я перестал быть революционером» и подачи верноподданнического прошения Александру III, он возвращается в Россию и становится сначала сотрудником, а потом редактором реакционных «Московских Ведомостей». На страницах этой газеты он усиленно защищает самодержавие и за свое ренегатское усердие награжден был царем золотой чернильницей. В брошюре «Начала и концы» (1890 г., Москва) он осудил все свое прошлое, считая, что школа и печать повинны в том, что у молодежи предвзятый взгляд на Россию и отрицательное отношение к нашим царским порядкам. Все это—результат знакомства не с жизнью. а только с книгой. Это уж не оригинальные мысли, а перепев мракобеса-реакционера Каткова (редактора «Московских Ведомостей» до Тихомирова), проповедывавшего те же идеи с 70-х годов.

43. Перовская Софья Львовна (1853—1881).—Одна из наиболее выдающихся деятельниц «Земли и Воли» и «Народной Воли». Будучи родом из сановной, аристократической семьи, она очень рано начинает борьбу

со старым укладом—прежде всего в форме борьбы за знание, за право учиться. Совсем молодой девушкой (16 лет) она в 1869 году приезжает в Петербург, близко сходится с сестрами Корниловыми и участвует в их кружках самообразования. Когда в 1871 году кружок Корниловых слился со студенческим кружком М. А. Натансона и Н. В. Чайковского в кружок чайковцев, С. Л. Перовская является активным его членом.

Арестованная при разгроме кружка чайковцев, в 1874 году после заключения в Петропавловской крепости выпускается на поруки к отцу. Он отправляет ее в Крым, где находится их имение. Свыше трех лет С. Перовская, привлеченная к «большому процессу» (193-х), ожидала разбора дела, живя под строгим домашним надзором. Несмотря на ее мужественное поведение на суде, она была оправдана, но административно выслана в Олонецкую губернию и бежала с пути. При возникновении в 1878 году общества «Земля и Воля» С. Перовская была принята в Общество на Воронежском съезде 1879 г. После раскола «Земли и Воли» примыкает к «Народной Воле» и становится одним из основных членов Исполнительного Комитета «Народной Воли», а после ареста Желябова 27 февраля 1881 года она руководила последними решающими действиями террористов при организации покушения 1 марта 1881 года. Арестованная 10 марта и приговоренная судом к повешению, она на суде и во время казни проявила большой героизм и самообладание, как и во все годы борьбы.

44. Клеменц Дмитрий Александрович (1848—1914).—Выдающийся революционер 70-х годов, впоследствии видный ученый, этнограф. Примкнул к кружку чайковцев в 1871 г. и активно участвовал в пропаганде среди рабочих и при хождении в народ. При разгроме кружка чайковцев в 1874 г. скрылся за границу, но приезжал оттуда неоднократно (один раз—с целью освобождения Чернышевского). Примыкая по своим взглядам к бунтарям-бакунистам, Д. А. участвовал в редактировании выходившего в Женеве в 1878 г. журнала «Община». При возникновении в России подпольного органа «Земля и Воля» он вошел в его редакцию. Будучи арестован в начале 1879 г., Д. А. после двух лет заключения в Петропавловской крепости был выслан административно в Сибирь (в Минусинск). Затем он отошел от политики и целиком ушел в научную работу.

45. Трощанский Вас. Филиппович.—Студентом Петербургского технологического института принял участие в революционном движении и в 1870 г. выслан был в Вятку, затем в Курск; позднее в Пинегу и Холмогоры. В 1878 г. бежал и участвовал в работе общества «Земля и Воля». Арестовывается в том же году в Сибири и приговаривается в 1880 г. к 10 годам каторги. Умер в 1898 г. в Якутской области.

46. Соловьев Александр Константинович (1846—1879).—В семидесятых годах начал свою революционную деятельность агитацией среди крестьян. Попеременно был кузнецом, учителем, волостным писарем. 25 апреля 1879 года покушался на Александра II самолично, без директивы Исполнительного Комитета, но народовольцы знали о подготовке.

За покушение на жизнь Александра II Соловьев казнен 28 мая 1879 г.

47. «Соловьев обратился в центр землевольцев. Его члены—Плеханов и М. Попов—резко восстали против намерения Соловьева и отказали ему, ссылаясь на то, что программа «З. и В.» этого не допускает. Тогда Соловьев заявил, что он в таком случае выступит как частное лицо. И тогда же из центра, которые сочувствовали его делу, помогли ему достать револьвер, и, выследив, где можно встретить царя, Соловьев пошел, встретил, но его пули пролетели над головой Александра II. Соловьева схватили, судили, повесили». (М. Фроленко—прим. к рук.).

48. Разделение партии «Земля и Воля» на «Народную Волю» и «Черный Передел» произошло в августе 1879 года. В «Народной Воле»

соединились сторонники политической борьбы с самодержавным правительством, в «Черный Передел» вошли чистые народники, отвергавшие борьбу за политическое освобождение.

49. «Любатович говорит, что приток молодых сил послужил ферментом, подготовившим раздел.

Это, по-моему, не так.

Притоки молодых сил происходили постоянно, иначе не могла бы партия «З. и В.» и существовать. И в данное время приток 3—4 новых, даже еще и не членов, а лишь сформировавшихся под крылышком некоторых настоящих членов в небольшую группку, под названием «Свобода или смерть», с печатью перекрещивающихся кинжала и револьвера, самое большее имел бы лишь значение—усилить дезорганизаторскую часть «З. и В.» и только. Эта группка состояла из чистых террористов, придающих террору очень большое значение. Они бы помогли или свершили бы сами какой-либо факт. Тем бы дело и кончилось, как это было и раньше, вот и все.

Но в данное время, а именно в 1879 г., правительство выдвинуло против революционеров усиленный белый террор, и это-то обстоятельство заставило задуматься над вопросом, как от него избавиться, как заставить правительство ослабить вожжи.

Дело было так. После неудачной попытки Соловьева убить Александра II правительство, напуганное красным террором, предприняло такие-то вот меры: оно вдруг объявило всю западную часть России на военном положении, и, назначив всюду тут генерал-губернаторов, наградило их почти царской властью—вешать, не сносясь с царем, затем ссылать без суда и т. д. При этом даны были им строгие инструкции и жестокие помощники, дабы неукоснительно действовать решительно. При таких-то условиях начал действовать белый террор и скоро довел всех до красного каления. На юге в самое короткое время стали возникать одни за другими виселицы и ссылки на вечную каторгу, но, мало того, начались еще всюду обыски и ссылки без суда, административно, по одному доносу соглядатая. Виселицы касались главным образом радикалов, и тут публика ходила лишь смотреть на зрелище, проливая иногда слезы, вздыхая, но это ее еще не особенно тревожило.

Другое, однако, произошло, когда начались массовые обыски и ссылки без суда в Сибирь, и не за дело, а лишь за мысли, за слова. Тут каждая семья стала трепетать: один за сына, другие за мужа, жену и т. д. Тут уже не вздыхать только стали, а просто кричать: так жить нельзя! нас душит кошмарная мгла! нам дышать нечем! долой царя! Стали даже предлагать свои услуги, силы свои на это. Между тем не было и легального выхода. Печать была задушена и молчала, а относительно общественных выступлений нечего было говорить и думать. Подпольная печать много сделать не могла. Вот собственно и есть то обстоятельство, которое и заставило теперь революционеров задуматься над старой своей тактикой и подумать о новой. Притом не только на севере, но и на юге. Здесь сначала против белого террора принялись было за генерал-губернаторов и начали уже изыскивать способы их взорвать или застрелить, но вскоре, услыхав крики обывателей, пришлось оставить все это и ехать в Питер, обсудить сообща вопрос: как быть? Не лучше ли, вместо генерал-губернаторов, направить свои силы против центрального источника такого положения, чтобы сразу разрубить Гордиев узел, как говорили тогда.

В Питере оказалась та же история. И там волновалось общество, укоряло революционеров за то, что они, допустив Соловьева выступить против царя и тем их теперь поставить под удары правительства, не продолжают дела, а как-будто утихли. Значит и тут требовали направить удар опять-таки на центр правительства. Это сознавали хорошо землевольцы, но их

сковывала программа партии, допускавшая дезорганизацию, но не допускавшая еще убийства царя. Чтобы выйти из этого положения, потребовался съезд всех членов-народников, а на ряду с этим образование и более организованный группы дезорганизаторов этой партии. До сих пор террор велся, можно сказать, частичными силами: Вера Засулич, Гольденберт, Попко, даже Кравчинский—все это лица, стоявшие вне партии, только Кравчинский партии помогал.

Между тем теперь, поднимая борьбу с царем, всякий понимал, что тут нужна более крепкая, более сплоченная, более организованная группа, и потому-то лица, признавшие необходимость цареубийства, помимо общего съезда, решили собраться и себе отдельно, чтобы сформировать такую группу. Таким образом явился еще и Липецкий съезд,—частный съезд, куда были приглашены только некоторые члены партии «Земля и Воля» и сверх того частные лица, как Желябов, Колодкевич, Ширяев, Гольденберг. Любатович не попала на этот съезд и потому имеет о нем неточные сведения. Она говорит, что здесь была выработана и принята какая-то программа. Такой вещи Липецкий съезд не имел права делать, да еще с частными лицами, а о выходе из партии в то время еще не помышляли. Съезд, то-есть общее собрание, собравшись в леску за Липецком, главным образом занялся выработкой устава для боевой группы и выборами распорядительной комиссии к этому, да еще раз поговорили определенно о необходимости покончить с Александром II. Затем сейчас же поспешили уехать на общий съезд в Воронеж, где опять-таки главной целью полагали добиться только от съезда разрешения действовать против царя, ни о каких программных изменениях не помышляя. Такова была основная задача, но в частных разговорах еще в Липецке, даже раньше, до него, во время прогулок, катаний на лодках шел обмен мнений, который шел дальше. Здесь уже обсуждался вопрос и перемены тактики вообще. Это высказывалось и на Воронежском съезде, но все это пока были разговоры, споры, ни к чему пока еще не приводящие. И Воронежский съезд не изменил своей программы; он лишь расширил поле деятельности дезорганизаторской группы, допустил убийство царя, но партию объявил нераздельной попрежнему.

Поэтому говорить, что в Липецке была выработана программа, никак нельзя.

Программа «Народной Воли» вырабатывалась и могла быть выработанной только после раздела, только тогда, когда липетчане стали вполне самостоятельными; так оно и было. Едва прошел раздел и все съехались, после наших неудачных выступлений против царя, как надо было подумать о нашей программе, и мы начали собираться и это делать. Основные положения нового направления высказывались, обсуждались и раньше в частных беседах. Это делал Алекс. Михайлов и в Одессе, когда приглашался только Желябов на Липецкий съезд. Это было в Липецке на прогулках, это высказывалось на Воронежском съезде, при чем как-то больше всего мне запомнился Тихомиров,—он же главным образом являлся и главным запевалой на тех собраниях, где шла теперь выработка программы «Народной Воли». (М. Фроленко—прим. к рукоп.).

50. Долгушин Алекс. Вас. (1848—1885).—Организатор кружков самообразования и студенческих выступлений. Арестован в 1869 г. по делу «нечаевцев», в 1871 г. был оправдан. Занялся пропагандой среди рабочих, затем основал собственный кружок. Арестованный по делу этого кружка, был приговорен к 10 годам каторги. Отсидел 7 лет в Н.-Белгородской каторжной тюрьме, отправлен на Кару. За организацию побега Малавского и публичное оскорбление тюремного смотрителя было прибавлено еще 10 лет каторжных работ. В 1883 г. за содействие побегу Мышкина его перевели

сначала в Петропавловскую крепость, затем в 1884 г. в Шлиссельбург, где он и умер.

51. Мышкин Ипполит Никитич (1848—1885).—Один из самых крупных революционеров-семидесятников. Солдатский сын, по профессии стенограф. В 1874 году в Москве организовал печатание нелегальной литературы. Когда его типография провалилась, бежал за границу Вернувшись, в 1875 году сделал попытку освободить Чернышевского из Вилюйска и при этом был арестован. В деле 193-х являлся главным обвиняемым. Во время суда произнес свою знаменитую ярко-революционную речь. Приговорен к десяти годам каторги. Был заключен в Ново-Белгородскую и Ново-Борисоглебскую центральные тюрьмы, затем переведен на Кару. В Иркутске на похоронах долгушинца Дмоховского произнес речь, за которую ему увеличили срок каторги до пятнадцати лет. В 1882 году бежал с Кары, добрался до Владивостока, но там был арестован. В следующем году отправлен в Петербург и заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, а в 1884 году переведен в Шлиссельбург. 15 января 1885 года военным судом в Шлиссельбурге приговорен к расстрелу «за насилие, учиненное над местным жандармским начальником». Казнен 26 января.

52. Мокиевский-Зубок Степан Васильевич.—Студент Петербургского технологического института, член кружка чайковцев. По процессу 193-х был отдан под гласный надзор на 3 года в избранном им месте жительства. Он избрал родной город—Чернигов.

53. «Пророк»—опера знаменитого немецкого композитора Мейербера, впервые поставленная на сцене в 1849 г. Темой ее служит революция анабаптистов в Мюнстере в 1534—1535 гг. и судьба их вождя Иоанна Бокельзана.

54. Баранников Александр Иванович (1853—1883).—Землеволец, в 1876 году пошел в народ. Попав в Петербург, вошел в дезорганизаторскую (террористическую) группу «Земли и Воли». Участвовал в убийстве шефа жандармов Мезенцова (в 1878 году), был в Исполнительном Комитете «Народной Воли». Участвовал в подкопе на Московско-Курской железной дороге (в 1879 году), в закладке динамита под Каменный мост в Петербурге (в 1880 году), в подкопе под Малой Садовой (в 1881 году); был арестован 25 января 1881 года. Судился в 1882 году и приговорен к бессрочной каторжной работе. Умер от цынги в августе 1883 года в Алексеевском равелине Петропавловской крепости.

55. Ольхин Александр Александрович (1839—1897).—Присяжный поверенный в Петербурге. Выступал защитником по политическим делам, например, по процессу 50-ти, по делу о казанской демонстрации. В 1879 г. выслан в Вологодскую губ. Привлеченный к суду по делу Л. Мирского (покушение на Дрентельна), был оправдан, но опять отправлен в Вологодскую губ., откуда в 1880 г. переведен в Пермскую. Только в 1895 г. ему было разрешено поселиться в Петербурге. Автор стихотворений на гражданские темы (например, на смерть Мезенцова—«У гроба»).

56. Корш Евгений Валентинович. — Присяжный поверенный в Петербурге. В 70-х годах выступал как защитник по политическим делам. Был близок к петербургским революционерам, способствовал укрывательству Веры Засулич, предоставлял свою квартиру для собраний руководителей «Земли и Воли». В 80-х годах выслан в Сибирь по уголовному делу. Жил в Томске, сотрудничал в сибирской печати.

57. Сидорацкий Григорий Петрович. (1857—1878).—Привлекался по делу 50-ти в 1877 г. и был приговорен к шести неделям заключения в смирительном доме. Покончил с собой во время демонстрации 31 марта 1878 г. после оправдания Веры Засулич. Эту официальную версию о самоубийстве Сидорацкого не разделяла учащаяся молодежь которая была убеждена, что

Сидорацкий был убит жандармами, и, желая почтить его память, постановила отслужить по нем панихиду, которая состоялась 5 апреля 1878 г.

58. «Существует и другое известие: Сидорацкий сам себя застрелил» (М. Фроленко—прим. к рук.).

59. «Северный Вестник»—ежемесячный журнал, выходивший с 1885 г. до 1897 г. До 1892 г. в нем участвовали писатели-народники Н. К. Михайловский, Г. И. Успенский, С. Н. Южаков, В. Г. Короленко, С. Н Кривенко и др. С 1892 г. стал выразителем мнений идеалистов и эстетов — Волынского, Минского, Мережковского и других.

60. Смецкая Надежда Николаевна (1850—1905). — Революционерка. Дочь генерала. Училась в Цюрихе, где принадлежала к кружку бакунистов. В 1878 г. пыталась вызвать революционное восстание среди уральских казаков. Была арестована в этом году, а в следующем административно выслана в Восточную Сибирь. Вышла замуж за ссыльного Шиманского, польского писателя. В последние годы жизни была психически больна. В тексте она названа Любовью по ошибке памяти автора.

61. Бакунин Михаил Александрович (1814—1876).—Основоположник анархизма и его теоретик. Дворянин, человек из кружка людей сороковых годов. Бакунин принял весьма активное участие в революции 1848 года в Западной Европе. Схваченный в 1849 г. в Австрии, он был выдан прусским властям. Его держали в тюрьмах в ужасных условиях и в 1854 г. передали русскому правительству. До 1857 г. Бакунин содержался сначала в Петропавловск. кр., а потом в Шлиссельбурге. В 1857 г. отправлен в Сибирь; в 1861 г. убежал через Японию в Западную Европу. С 1864 г. Бакунин становится вождем анархистов. В Интернационале он ведет жестокую борьбу против Маркса и откалывает часть Интернационала. Принимает участие в различных революционных попытках в Западной Европе. Идейное влияние таких русских революционеров было очень сильно в семидесятых годах. В Западной Европе его идеи привились преимущественно в романских странах — Италии, Испании, Франции.

62. Шиманский Адам (род. в 1852 г.). — Польский беллетрист. В 1879 г. был сослан в Якутскую область. Здесь написал свои первые рассказы из жизни ссыльных.

63. Личкус (в замужестве Кравчинская) Фанни Марковна. — Дочь купца, в начале 70-х гг. курсистка в Петербурге. В конце 70-х гг. эмигрировала за границу, была женой С. М. Кравчинского. После смерти мужа— издательница его сочинений.

64. Отрепьев Григорий. — Долго существовало мнение, что это настоящее имя так наз. «Лжедимитрия» или «первого самозванца», процарствовавшего на московском престоле 11 месяцев и низвергнутого в 1606 г. Утверждение, что этот неведомый царь есть «Гришка Отрепьев», шло от его политических врагов.

65. Драгоманов Михаил Петрович (1841—1895). — Известный писатель и политический деятель. В 60-х и первой половине 70-х гг. был профессором истории в Киевском университете. В 1875 г. был уволен, уехал за границу и стал эмигрантом. Как ученый, много сделал для украинской этнографии. В политике Драгоманов называл себя социалистом, но свой социализм откладывал на неопределенное время и проповедывал чистый конституционализм и федерализм. С современными ему русскими социалистами вел ожесточенную борьбу. Для великорусских либералов Драгоманов представлялся чересчур радикальным. Громадным влиянием Драгоманов пользовался среди украинских кругов. Драгоманов — типичный буржуазный либерал, искавший опоры у земцев и боровшийся как с народовольчеством, так и с социал-демократией, выступая против социализма и теории классовой борьбы.

66. Зибер Николай Иванович (1844—1888). — Известный экономист, с 1873 по 1875 г. приват-доцент Киевского университета, потом жил за границей. Один из самых ранних и лучших популяризаторов экономических идей К. Маркса в России. Основная его работа — «Д. Рикардо и К. Маркс в их общественно-экономических исследованиях».

67. «Громада». — Украинский сборник, издававшийся в Женеве с 1876 по 1882 г. известным эмигрантом профессором М. П. Драгомановым. Руководители «Громады» стояли на буржуазно-конституционной точке зрения, считая единственно целесообразной только борьбу за политическое освобождение России и враждебно относясь к социализму. В устройстве будущей освобожденной России «Громада» отстаивала федералистическую точку зрения.

68. Павлик Михаил (род. в 1853 г.) — Украинский литератор и общественный деятель в Галиции. Сотрудник Драгоманова в «Громаде». В 90-х гг. — один из основателей «Украинской радикальной партии».

69. «Это совершенно неверно: Кравчинский, временно побывший в Петербурге и уехавший за границу, никакого влияния не имел; Морозов в то время тоже не мог иметь большого значения». (М. Фроленко — прим. к рук.).

70. Липецкий съезд (с 17 по 20 июня 1879 года) сыграл огромную роль в истории русского революционного движения. Здесь на съезде объединились сторонники террористической борьбы и были намечены пути борьбы с правительством, характеризующие последующую деятельность «Народной Воли».

71. Наполеон I (1769—1821). — Император Франции с 1809 по 1815 г. Знаменитый полководец. Во внутренней политике закрепил завоевания французской буржуазии во время революции.

72. Восстание против турецкого владычества в славянской области Герцеговине, начавшееся в 1875 г., послужило прологом к русско-турецкой войне 1877—1878 гг. В нем принимали участие некоторые русские добровольцы из революционной среды. Неудачная попытка восстания в Беневенто (в Южной Италии) была сделана итальянскими сторонниками Бакунина в апреле 1877 г.

73. Кастелар Эмильо (1832—1899) — Известный испанский писатель, оратор, политический деятель умеренно-либерального направления. Занимал посты министра иностранных дел, президента кортесов, премьер-министра.

74. «Дело» — журнал, существовавший с 1867 г. Главным его руководителем был до своей смерти (в 1880 г.) Г. Е. Благосветлов. «Дело» продолжало традиции «Русского Слова» и выражало радикальные воззрения мелкой буржуазии. В нем участвовали также некоторые социалисты.

75. «Révolté» («Мятежник»). — Анархическая газета, сначала двухнедельная, потом еженедельная, основанная в начале 1879 г. в Женеве П. А. Кропоткиным вместе с двумя западно-европейскими анархистами. Впоследствии газета была перенесена в Париж и под измененным названием («Новые времена») существовала до начала империалистической войны.

76. Бисмарк (1815—1898). — «Железный канцлер» Германской империи. Основной его задачей было «кровью и железом» объединить мелкие разрозненные немецкие государства и создать национальное единство под руководством Пруссии. Вождь европейской реакции в течение ряда лет. Враг рабочего движения. При нем издали исключительный закон против социалистов, действовавший в 1879—1890 гг., по которому немецкий рабочий класс и его социал-демократическая партия лишались политических прав, которыми пользовались другие политические партии. Этот закон вынудил

социал-демократию уйти в подполье. Жестокие репрессии не сломили движения, и влияние социал-демократии увеличилось.

77. Лассаль Фердинанд (1825—1864). — Знаменитый немецкий социалист, писатель и агитатор, основатель первого общегерманского рабочего союза. Представитель более умеренного течения в немецком социализме.

78. «Спартак». — Роман итальянского писателя Рафаэля Джиованиоли. «Спартак» в переводе С. М. Кравчинского (без подписи переводчика) был впервые напечатан в журнале «Дело» за 1880 и 1881 г. Впоследствии этот роман переиздавался отдельным изданием и пользовался успехом у революционно-настроенной молодежи.

79. Станюкович Константин Михайлович (1844—1903). — Беллетрист (из его произведений особенной известностью пользуются рассказы из жизни моряков). С 1881 г. соредактор журнала «Дело», а с 1883 г. и издатель его. В 1884 г. арестован и вскоре выслан в Томскую губ. на три года: арест и высылка стояли в связи с участием в издаваемом им журнале эмигрантов (Тихомиров, Кравчинский и др.) и вызван этими сношениями с ними.

80. Черкезов Варлаам Николаевич (1846—1925). — Впервые судился по Каракозовскому делу в 1866 г. и был приговорен к 8-месячному заключению в крепости. В 1871 г. по нечаевскому делу приговорен к ссылке на житье в Томскую губ. В начале1876 г. бежал из Томска за границу. С этой поры — эмигрант. Видный деятель анархического движения, близкий к П. А. Кропоткину. Непримиримый враг марксизма.

81. Малатеста Энрико (род. в 1853 г.). — Итальянский анархист, один из вождей международного анархического движения. Участник ряда революционных выступлений в Италии. В течение долгих лет — эмигрант. Автор сочинений, в которых развивается анархическая теория. Совершенно чужд теории классовой борьбы.

82. Дрентельн Александр Романович (1820—1888). — Генерал от инфантерии. С сентября 1878 г. до февраля 1880 г. — шеф жандармов и начальник III Отделения.

83. Эпштейн Анна Михайловна.—В начале 70-х гг. заведывала перевозкой заграничных изданий в Россию. Умерла в 1895 г. в Вене.

84. Зунделевич Арон Исаакович (1854—1923). — Видный деятель «Земли и Воли». Чрезвычайно плодотворно работал в области техники, то-есть по постановке тайных типографий, переправке через границу литературы и людей и пр. По процессу 16-ти приговорен в 1880 г. к бессрочной каторге, которую отбывал на Каре. В 1906 г. вернулся с поселения и вскоре уехал за границу. Провел конец своей жизни в Лондоне, где и умер.

85. «Процесс 16-ти» был первым народовольческим процессом. Из 16 лиц, судившихся по этому процессу, 12 были народовольцы. Процесс происходил в Петербурге в военно-окружном суде с 25 по 30 октября 1880 г. Судились А. Квятковский, А. Пресняков, С Ширяев, Я. Тихонов, И. Окладский, А. Зунделевич, С. Иванова, Е. Фигнер, Л. Цукерман и др. Суд приговорил к смерти пятерых. По царской конфирмации казнены были двое — Квятковский и Пресняков.

86. Жуковский Николай Иванович (1833—1895). — Эмигрант с 1862 г. Был очень близок к Бакунину, участвовал вместе с ним и Нечаевым в издании журнала «Народное Дело». Член Интернационала; вышел из него после исключения Бакунина. Являлся одним из центральных лиц в русской эмиграции 70-х гг.

87. Кафиеро Карло (1846—1892). — Итальянский революционер анархист, приверженец Бакунина, один из вождей I Интернационала в Италии. С начала 80-х гг. отходит от анархизма.

88. Лефрансе Гюстав (1826—1901). — Французский социалист. Участник революции 1848 г., член I Интернационала и Парижской Коммуны. После подавления Коммуны бежал за границу; вернулся во Францию по амнистии 1880 г.

89. Ткачев Петр Николаевич (1844—1886). — Арестован в связи с каракозовским делом. Литературную деятельность начал в «Русском Слове», сотрудничал в журнале «Дело», продолжая в нем работу и при переезде за границу. В Париже был связан с революционными кругами и сам выпускал журнал «Набат», в котором развивал якобинские взгляды. Ткачев—крупный писатель-революционер.

90. Иванова Софья (Борейшо). — В 1877 г. судилась по делу о демонстрации на Казанской площади. 17 января 1880 г. арестована при оказании вооруженного сопротивления типографией «Народной Воли», существовавшей с 22 августа 1879 г., издавшей 3 номера «Народной Воли».

91. Квятковский Александр Александрович (1852—1880). — Выходец из дворянской семьи. Отец — золотопромышленник. Учился в Петербургском технологическом институте, где участвовал в социалистическом движении молодежи. Бросает институт и организует в 70-х годах слесарную мастерскую в Тульской губернии, ставя себе задачей выяснить «вред капиталистического единоличного производства и показать пользу производства на артельных началах». Донос заставил Квятковского уйти в Кострому на заводы, затем батраком в Нижегородскую губ., деревенским торговцем в Поволжье. В 1879 г. вернулся в Петербург, приняв деятельное участие в подготовке Соловьевым покушения на Александра II (2 апреля 1879 года). Землеволец. После раскола уходит в «Народную Волю», стал членом Исполнительного Комитета. Арестован 24 ноября 1879 г. В 1880 г. присужден к смертной казни. Повешен 4 ноября 1880 года.

92. Желябов Андрей Иванович (1851—1881). — Крупнейший из деятелей «Народной Воли». По происхождению — крестьянин. Будучи студентом Новороссийского университета, в 1873 г. примкнул к Одесскому кружку Волховского и занялся пропагандой среди рабочих. Был арестован в 1874 и 1877 г.; судился по процессу 193-х, но был оправдан. Участник Липецкого и Воронежского съездов. Член Исполнительного Комитета «Народной Воли». Участник покушения на жизнь Александра II. Арестован в Петербурге на квартире Тригони 27 февраля 1881 года. Приговоренный по процессу первомартовцев к смертной казни, повешен 3 апреля.

93. Фроленко Михаил Федорович (род. в 1848 г.). — Народоволец, член Исполнительного Комитета. Принимал активное участие во многих революционных событиях: в попытке освобождения П. Войнаральского из Харьковской тюрьмы, в освобождении из Одесской тюрьмы В. Костюрина, из Киевской тюрьмы Л. Дейча, И. Бохановского, Я. Стефановича, в покушении на экспроприацию сумм из Кишиневского казначейства, в приготовлениях к цареубийству, работая в подкопе на Малой Садовой. Арестован 17 марта 1881 года, судился в 1882 г. по процессу двадцати народовольцев. Приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, а в 1884 г. переведен в Шлиссельбург, где пробыл до амнистии 1905 г. Недавно советская общественность праздновала восьмидесятилетие его рождения, приветствуя революционера-борца.

94. Ширяев Степан Григорьевич (1856—1881). — Член Исполнительного Комитета «Народной Воли». В партии был одним из лучших техников. Участник 19 ноября 1879 г. Арестован был 4 декабря 1879 г. в Петербурге. Осужден в 1880 г. по процессу 16-ти. Смертная казнь была заменена бессрочными каторжными работами. Умер в Алексеевском равелине Петропавловской крепости 18 августа 1881 г.

95. Ошанина-Полонская Мария Николаевна (Оловенникова Мария Николаевна) (1853—1898). — Участвовала в молодости в кружке якобинца П. Г. Зайчневского. В 1878 г. примкнула к «Земле и Воле», пыталась организовать поселение из революционеров среди крестьян Воронежской губернии для пропагандистской работы. Впоследствии член Исполнительного Комитета «Народной Воли». С 1882 г. эмигрировала за границу, где продолжала работу, но по взглядам была ближе к якобинцам, примыкая к кружку «старых народовольцев».

96. Юрковский Федор Николаевич (1852—1896). — Революционер (кличка «Сашка-инженер»). Организатор подкопа под Херсонское казначейство в 1879 г. В 1880 г. военным судом в Киеве приговорен по этому делу к 20 годам каторги. Был на Каре. В 1882 г. за попытку к побегу прибавлено еще 10 лет. В 1883 г. перевезен с Кары в Шлиссельбург, где и умер.

97. Попов Михаил Родионович (1851—1909). — Из духовной среды. С осени 1875 г. жил под Петербургом, агитируя среди рабочих. Вошел в организацию «Земля и Воля». Был членом кружка в Ростове, занимавшегося пропагандой среди интеллигенции и рабочих. В 1877—1878 гг. продолжал пропагандистскую работу среди петербургских рабочих. Наравне с Плехановым сыграл видную роль в руководстве забастовкой на фабрике Торнтона в Петербурге в марте 1878 г. Выступает против террора, после раскола «Земли и Воли» примыкает к «Черному Переделу». Принимает меры к соединению «Народной Воли» и «Черного Передела». Попову удалось связать свою работу с народовольцами, и он начал вести одновременно с террористической деятельностью работу в народе. В феврале 1879 г. убил шпиона Рейнштейна. В 1880 г. арестован и приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Из Шлиссельбурга вышел в 1905 г.

98. Щедрин. (1826—1889). — Псевдоним знаменитого русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова. Зло высмеивал чиновников, клеймил позором дворянский быт.

99. Ковальская Елизавета Николаевна (урожд. Солнцева) (род. в 1852 г.). — Видная революционерка. Была в «Черном Переделе», потом с Н. Щедриным (революционером) образовала собственную группу. Организовала вместе с ним «Южно-русский рабочий союз» в Киеве. В 1881 г. приговорена в Киеве к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Каторгу отбывала на Каре и в Зерентуе. Дважды пыталась бежать. В последние годы много писала по истории революционного движения.

100. «В Алешки Юрковский увез одну часть, другую Россикова увезла на баштан одного крестьянина, а Терентьевой — участнице подкопа — вместо 100.000 руб. дали 10.000, которые она и увезла в Одессу. Из 10.000 руб., привезенных Терентьевой, только 1.000 руб. была послана в Питер, а остальные 9.000 руб. остались в его распоряжении». (М. Фроленко — прим. к рук.).

101. Якимова Анна Васильевна (по мужу Диковская). (Род. в 1856 г.). — Арестована в 1875 г. за распространение запрещенных изданий. Судилась по процессу 193-х, оправдана, но административно выслана на родину в Вятскую губернию. Вскоре отправилась в Тверскую, а затем в Ярославскую, Костромскую и Нижегородскую губернии, ведя пропаганду среди крестьян. Примкнула к «Народной Воле», принимала участие в организации покушения на Александра II под Александровском и Одессой. В Петербурге вместе с Богдановичем поселилась на Малой Садовой под фамилией Кобозевых, вела работу по устройству подкопа. Арестована в Киеве в марте 1881 г. Судилась по процессу двадцати народовольцев в феврале 1882 года... приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой, которую отбывала на Каре и в Акатуе. В 1899 году вышла на

поселение в Забайкальской области. В декабре 1904 г. бежала в Европейскую Россию, примкнув к социалистам-революционерам. Арестована в августе 1905 года на станции Орехово-Зуево. В июне 1907 г. освобождена из Читинской тюрьмы. До июня 1917 г. состояла в партии социалистов-революционеров. В настоящее время активная работница Общества политкаторжан.

102. Аптекман Осип Васильевич (1849—1926). — После раскола «Земли и Воли» вступил в «Черный Передел». 19 января 1880 г. арестован и в 1881 г. выслан на 5 лет в Якутскую область. Вернулся в Россию в 1887 г. В 90-х годах участвовал в «Народном Праве». В конце девяностых годов стал социал-демократом. У Аптекмана имеется много работ по истории революционного движения 70-х гг.

103. Крылова Марья Константиновна (1842—1916). — Привлекалась впервые к дознанию и была арестована еще по делу Каракозова в 1866 г. Привлекалась также по нечаевскому делу. Член общества «Земля и Воля» с его возникновения. Выучившись за границей наборному делу, была «хозяйкой» землевольческой типографии и являлась одной из главных работниц в деле печатания нелегальной литературы. После распада «Земли и Воли» вошла в «Черный Передел» и работала в черно-передельческой типографии. В 1880 г. арестована вместе с типографией. В 1881 г. притоворена к ссылке на поселение в Иркутскую губ. По возвращении в Европейскую Россию жила в Воронеже, работала по статистике.

104. Гольденберг Григорий Давыдович (1856—1879). — 9 февраля 1879 г. убил харьковского губернатора князя Кропоткина. Принимал участие в «Народной Воле». Арестованный в ноябре 1879 г., под влиянием давления тов. прокурора Добржинского сообщил все, что мог, о движении. Поняв, какую позорную роль он сыграл, он покончил с собой.

105. «Народная Воля». — Партийный журнал, издававшийся в России с 1879 по 1885 г. с большими трудностями. За границей издавался с 1883 г. «Вестник «Народной Воли». Вышло всего 5 выпусков до 1886 г. Редактировали журнал Тихомиров и Лавров. Оба журнала отражали взгляды «Народной Воли».

106. «Набат». — Орган русских «якобинцев», выходивший в Женеве с 1875 по 1881 г. Главным руководителем его был первоначально П. Н. Ткачев. «Набат» занял резко-полемическую позицию относительно обоих течений современного ему революционного народничества — и лавризма, и бакунизма. Среди русских революционеров «Набат» был мало распространен, и влияние его было минимальным.

107. Дегаев Сергей Петрович.—Артиллерийский офицер, потом студент путей сообщения. Член партии «Народная Воля» с 1880 г. Работал среди военных. В 1882 г. участвовал с В. Н. Фигнер в восстановлении совершенно разрушенного партийного центра. В декабре 1882 г. арестован в Одессе при провале типографии. Склонился на уговоры Судейкина и стал играть предательскую роль в партии (ему был устроен фиктивный побег). Предал В. Н. Фигнер, членов военного центра и других деятелей партии. В 1883 г. за границей признался Тихомирову и Ошаниной в своей роли и взял на себя обязательство убить Судейкина и отойти от революции. Организовав убийство Судейкина, уехал за границу, где жил до своей смерти. Самое убийство по поручению Исполнительного Комитета «Народной Воли» выполнили 16 декабря 1883 г. В. Конашевич и Н. П. Стародворский.

108. Заславский Евгений Осипович (1847—1878). — В 1872 г. открыл в Одессе типографию для сближения с рабочими. Вел пропаганду и организовал рабочий кружок, впоследствии получивший название «Южно-российский рабочий союз». В 70-е гг.—это первая попытка создать чисто-рабочую революционную организацию. Арестован в декабре 1875 г. и перевезен в Петербург. Находясь в Доме предварительного заключения, стал

обнаруживать признаки душевного расстройства. В мае 1877 г. приговорен к ссылке в каторгу на 10 лет; при утверждении приговора срок сокращен до 6 лет. По ходатайству жены отправка его ввиду болезненного состояния была приостановлена, а сам он помещен в психиатрическую больницу. В 1878 г. назначенное наказание заменено ссылкой на поселение в южные местности Томской губ. Умер 13 июня 1878 г. в Петербургском тюремном замке.

109. «А мне он казался не высоким, не черным, не бледным, не стройным, а выше немного среднего, темно-русый, скорее даже просто русый, плотный, с круглым, крестьянского парня видом, лицом, отнюдь не бледный, а обычный, иногда даже со здоровой краской в лице» (М. Фроленко — прим. к рук.).

110. Гельфман Геся Мировна (1855—1882). — Шестнадцати лет бежала из родительского дома в Киев. Арестована в 1875 году. Просидела два года в предварительном заключении, по процессу пятидесяти приговорена к двум годам заключения в рабочем доме. Отбыв их, была выслана в 1879 г. в Старую Руссу, оттуда в том же году бежала в Петербург. Присоединилась к «Народной Воле», была хозяйкой типографии «Рабочей газеты», а затем той конспиративной квартиры, где метальщики 1 марта получили снаряды. 3 марта 1881 года арестована на конспиративной квартире, которую выдал Рысаков. По процессу первомартовцев приговорена к смертной казни, которая ввиду ее беременности была заменена вечным заключением. Умерла 2 февраля в Доме предварительного заключения.

111. Грачевский Михаил Федорович (1849—1887). — Выдающийся революционер семидесятых годов, железнодорожный машинист по профессии. По делу 193-х был приговорен к заключению в тюрьме на три месяца, но по ходатайству суда освобожден от этого наказания. Административно выслан в том же 1878 г. в Архангельскую губернию. В 1879 г. бежал из ссылки и вступил в «Народную Волю». Был членом Исполнительного Комитета этой партии. Добывал денежные средства для партии, был хозяином квартиры, где помещалась партийная типография, заведывал денежной мастерской. Арестован летом 1882 года. Судился по процессу семнадцати в 1883 г. и приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой, и заключен в Шлиссельбург, где в октябре 1887 года сжег себя, предварительно облившись керосином.

112. Фигнер Евгения Николаевна (по мужу Сажина. Родилась в 1859 г.). — В 70-х гг. занималась революционной пропагандой в Самарской и Саратовской губ. Скрылась от полиции, уехала в Петербург и после отъезда сестры, Веры Ник. Фигнер, поселилась на конспиративной квартире А. Квятковского, где и была арестована вместе с ним в 1879 г. В квартире были найдены заряженные мины; приговором военного суда по процессу 16-ти Евгения Фигнер была выслана в отдаленнейшие места Сибири (1886 г.), где прожила много лет. Там же она встретилась с М. П. Сажиным. В настоящее время живет в Москве.

113. Бух Николай Константинович (род. в 1852 г.). — Народоволец. В 70-х годах «пошел в народ» и бросил ученье в Петербургской медико-хирургической академии. Примыкал к кружку южных бунтарей. После ареста на суде заявил, что признает программу «Народной Воли», но не сочувствует ее террористической тактике. Приговорен к 15 годам каторги, которую отбывал на Каре. В 1890 г. он подал прошение, и ему разрешили выехать в Западную Сибирь, а позже в Петербург.

114. Цукерман Лейзер Иоселевич (1852—1887). — Революционер. Работал в тайной типографии «Народной Воли», был арестован вместе с другими работниками типографии 18 января 1880 г. По процессу 16-ти при-

говорен в 1880 г. к 6 годам каторги. Каторгу отбывал на Каре, потом вышел на поселение в Якутскую область, где покончил с собой.

115. Лубкин Абрам («Птица» — «Пташка») (1857—1880). — «Лубкин был маленький, незаметный человечек, усердный типографщик, которого высшее счастье состояло в том, чтобы его листки были напечатаны чисто и красиво». («Воспоминания» Л. Тихомирова, стр. 135).

116. Грязнова Мария Васильевна (род. в 1858 г.). — Арестована в типографии в 1880 г. Ее осудили на 15-летнюю каторгу, но взамен ей дали ссылку на поселение.

В своих воспоминаниях Тихомиров характеризует ее, как преданную делу радикалку.

117. Кибальчич Николай Иванович (1854—1881). — Сын священника, активный участник народнического движения 70-х годов прошлого столетия. Впервые был арестован в 1875 г., обвинен был в распространении революционной литературы. Три года провел в предварительном заключении и в 1878 г. был приговорен к тюремному заключению на месяц. Впоследствии, с образованием «Народной Воли», был ее деятельным членом и участвовал в террористических предприятиях. Один из лучших техников партии. Под его руководством приготовлены бомбы, которыми был убит Александр II (1 марта 1881 г.). Кибальчич был арестован 17 марта 1881 г. и повешен в числе пяти участников убийства царя.

118. Талмуд. — Условное обозначение для целого ряда произведений еврейских раввинов первых веков нашей эры. В течение ряда лет Талмуд являлся своего рода энциклопедией и источником «мудрости» для правоверных евреев.

119. Лавров Петр Лаврович (1823—1900) (Миртов). — Крупный теоретик революционного народничества. Революционер и ученый. В 1867 г. был выслан в Вологодскую губернию. В 1868 г. в ссылке написал «Исторические письма» за подписью Миртова, имевшие большое влияние на молодежь. В этой книге он доказывал, что прогресс в истории возникает благодаря «критически мыслящим личностям», они — двигатели исторических событий. Доказывал необходимость для интеллигенции самоотверженно принести себя в жертву для блага народа и таким образом отдать ему свой «долг».

120. «Вперед» — непериодический журнал. Издавался за границей под редакцией теоретика народничества П. Л. Лаврова. № 1 журнала «Вперед» вышел в 1873 г. в Цюрихе. В 1874 г. редакция была перенесена в Лондон, где с 3 января 1875 г. это издание дополнялось двухнедельной газетой того же названия. В конце 1876 г. (всего вышло сорок восемь номеров) «Вперед» прекратил свое существование.

121. «На Липецком съезде не могли вырабатываться программы, ибо это был частный съезд и отдельные члены партии не имели на это права. Они могли только обмениваться своими взглядами, но тогда на первое место надо поставить Тихомирова с Ал. Михайловым» (М. Фроленко — прим. к рук.).

122. Колодкевич Николай Николаевич (1850—1884). — Был студентом Киевского университета, входил в киевский кружок «чайковцев» и занимался пропагандой среди рабочих. Неоднократно привлекался по политическим делам: в 1876 году по Чигиринскому делу, в 1878 г. за участие в попытке освобождения из Харьковской тюрьмы Фомина (Медведева), в 1879 г. по делу о харьковском революционном кружке А. Сыцянко, но всякий раз ему удавалось скрыться. После образования «Народной Воли» стал членом ее Исполнительного Комитета. Арестован 26 января 1881 года, судился по процессу двадцати в 1882 г., приговорен к смертной казни, заме-

ненной пожизненным заключением в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, где и скончался.

123. «Любатович говорит, что показания Гольденберга будто сковали свободу наших передвижений, взаимных сношений. Это, разумеется, преувеличено. Мы все были люди нелегальные и давно знали, что нас ищут. Однако это не мешало нам раньше двигаться, то же происходило и теперь. Беда от показаний Гольденберга заключалась не в этом: он ведь не знал наших новых нелегальных фамилий и квартир и повредить нам не мог. Повредил же он нам больше всего тем, что раскрыл наши карты, открыл нашу слабость, так сказать. Жандармы и публика раньше воображали нас большой силой, пугались этой большой силы, а теперь и они и публика увидели, что это небольшая горсточка и только. Вот чем Гольденберг нам повредил. Мне лично пришлось выслушать однажды в провинции от докторов и присяжных поверенных: «Что же это? А мы думали, что вы успели в самом деле сорганизовать громадную силу, а выходит — один, два, да и обчелся». (М. Фроленко — прим. к рук.).

124. Оловенникова Наталья Николаевна (1856—1924). — Революционерка. Член Исполнительного Комитета «Народной Воли» с 1880 г. Посредница в сношениях народовольцев с Клеточниковым (революционером, служившим в III Отделении). В начале 80-х гг. психически заболела. Оставалась больной до конца жизни, с редкими светлыми промежутками.

125. Корба Анна Павловна (урожденная Мейнгардт, по второму мужу Прибылева. Родилась в 1849 г.). — Член Исполнительного Комитета «Народной Воли». По процессу 17-ти приговорена к 20 годам каторги, которую отбывала на Каре. Живет в Ленинграде. Написала воспоминания о своем революционном прошлом, изданные в 1927 г.

126. «Больших возражений на первых заседаниях я что-то не помню, и только позднее, при окончательном чтении, помню, начали возражать серьезно Любатович с Морозовым. Из возражений Любатович, однако, я помню лишь то, что она упрекала нас за то, что в программе совершенно отсутствовала работа в деревне. На это возражали тем, что нас мало, что нам едва хватит сил на выполнение намеченной задачи, разбрасываться поэтому невыгодно. Когда окрепнем и сил станет больше, тогда мы возьмемся опять и за деревню. Мы ее и не думаем игнорировать, но пока приходится ограничиваться одним городом.

Любатович сердилась и продолжала настаивать, и тогда, чтобы ее утешить, внесли какой-то параграф о деревне, но все знали заранее, что это мертворожденный параграф. Любатович с Морозовым скоро уехали за границу, и об этом споре забыто было. Правда, Любатович в своем писании выставляет другой мотив, но это, мне кажется, произошло по ее недоразумению. Ее я не помню на первых заседаниях. Там все были в конце согласны с Тихомировым. Тихомиров, кроме того, был член Распорядительной Комиссии. Что же тут странного, что если б он собирал голоса на дому (это мною забыто). Тем более, что потом же на собрании мы это сделали и не поддержали протеста Любатович как в этом, так и во всех укорах против якобинства, нечаевщины и т. д. Чтоб понять ее укоры, надо напомнить, что Любатович, быстро попав в тюрьму, а потом в ссылку и эмиграцию, не пережила тех этапов, тех жизненных опытов, которые перенесла большая часть старых членов «Н. В.» и смотрела уже иными глазами на это. Любатович же осталась и в эти времена при взглядах, существовавших в начале 70-х годов, когда нечаевщина, якобинство считались смертельным грехом и признавалась лишь полная свобода действий за каждым; а генеральства, команды, дисциплины боялись, как чумы. Все это у нее, как видно, сохранилось, и отсюда ее враждебное отношение.

Тихомиров из Распорядительной Комиссии выбыл потому, что был занят в редакции; во-вторых, его считали непрактиком; в-третьих, он побаивался шпионов, а члену Распорядительной Комиссии приходилось немало двигаться и легко было захватить его шпикам. Вот это причины, которые мне известны, а то, что Любатович выставляет, — не помню». (М. Фроленко — прим. к рукописи).

127. «Все это плод обиженного самолюбия; неверно, будто дружная семья распалась. Она осталась дружной до своего конца, и только Любатович уехала с Морозовым за границу». (М. Фроленко—прим. к рук.)

128. «Стефанович, как оказалось, вел дело не к соединению, а, напротив, к образованию новой фракции». (М. Фроленко — прим. к рук.).

129. Лебедева Татьяна Ивановна (1854—1887). — Народница-семидесятница. По окончании Московского Николаевского института сблизилась с Кравчинским, Клеменцом и С. Перовскою. Впервые была арестована в 1874 году, но была через восемь месяцев освобождена; вторично арестована в 1877 году. Судилась по процессу 193-х, зачтено в наказание предварительное заключение. В 1879 г. примкнула к «Народной Воле», принимая активное участие в ряде террористических предприятий. Арестована в сентябре 1881 г. в Петербурге. Судилась по процессу двадцати народовольцев; смертная казнь заменена бессрочной каторгой, которую отбывала на Каре, где и умерла.

130. Николай I (1796—1855) — сын Павла I, император с конца 1825 г. Вступил на престол, подавив попытку восстания декабристов. Установил на 30 лет режим полицейской диктатуры, не доверял после декабристов даже дворянству. Фанатический враг всякого либерализма, стремился поддерживать и во всей Европе «законный» порядок, активно выступая для подавления революционных стремлений. Его царствование закончилось крахом Севастопольской кампании.

131. Александр II (1818—1881). — Русский император, царствовавший с 1855 г., в период, когда революция была «у ворот России», но не всем была ясна неизбежность революции. Надеялись, что царь, «освободивший» крестьян рядом реформ, ликвидирует весь крепостной строй России. Александр все время колебался между конституцией и «диким полицейским произволом». Он заигрывал с массами, либералами, а политических врагов жестоко наказывал. Уже в 70-х годах выявилось, что не только крестьяне были недовольны реформой, студенты бунтовали, а даже прогрессивная часть дворянства была также не удовлетворена. На Александра покушался Каракозов в 1866 г., Соловьев—в начале 1879 г., и только в 1881 г. 1 марта он был убит по постановлению Исполнительного Комитета «Народной Воли». Смерть Александра не вызвала никакого революционного движения в массах. Полное равнодушие царило в обществе.

132. Лорис-Меликов (1825—1888).—Генерал, отличившийся в русско-турецкую войну 1877—1878 гг. взятием неприступной турецкой крепости Карс и получивший титул графа. В 1879 г. был сначала астраханским, саратовским и самарским временным генерал-губернатором, а затем харьковским. В феврале 1880 г. призван был спасать отечество в качестве председателя Верховной распорядительной комиссии для поддержания государственного порядка и общественного спокойствия. За пять месяцев работы этой комиссии Лорис-Меликов был фактическим диктатором на внутреннем фронте. Ему подчинены были все генерал-губернаторы и все министры. Даже судебная власть сначала не имела силы по отношению к его распоряжениям. Управление Лорис-Меликова получило название «диктатуры сердца», ибо одновременно с жестокой борьбой с революционерами он делал кое-какие поблажки либеральному «обществу». В результате работ Верховной комиссии просуществовавшее более 50 лет III Отделение (стоявшее особняком, не

подчиненное ни одному из министров) преобразовано было в Департамент государственной полиции, состоящий в ведении министра внутренних дел. На пост первого министра внутренних дел с расширенными правами и полномочиями назначен был опять-таки тот же Лорис-Меликов.

В начале 1881 г. он представил Александру II проект созыва особых совещательных комиссий с участием выборных представителей от земств и городов для рассмотрения некоторых законодательных проектов. Этот проект, обычно обозначаемый не совсем основательно «конституцией» Лорис-Меликова, одобрен был Александром II, но после его смерти I марта 1881 г. его преемник, под влиянием Победоносцева и др., отверг его. В начале мая 1881 г. Лорис-Меликов ушел в отставку.

133. «Из-за нее-то и весь сыр-бор загорелся: ни Тихомиров, ни Желябов не хотели ее печатать» (М. Фроленко — прим. к рукописи).

134. Халтурин Степан Николаевич (1857—1882). — Организатор Северно-русского рабочего союза в 1878 г. В 1875—1876 гг. активный участник народнических кружков и выдающийся пропагандист. Работал исключительно среди рабочих, руководил забастовочным движением. Выставлял в противоречие народникам взгляд, что рабочий класс должен вести политическую борьбу, как средство своего социального освобождения. В 1879 г., когда Союз был полицией ликвидирован, вошел в Исполнительный Комитет «Народной Воли». После покушения на Александра II в 1880 г. принимал участие в убийстве одесского прокурора Стрельникова. Халтурин с экипажем поджидал товарища, который застрелил Стрельникова. Но их обоих арестовали и повесили 22 марта 1882 г.

135. Гартман Лев Николаевич (1850—1908). — Землеволец, затем народоволец. После покушения 19 ноября 1879 г. эмигрировал во Францию. В Париже был арестован 23 января 1880 г. Была поднята энергичная кампания, и его не выдали России, но выслали за пределы Франции.

136. Гамбетта Леон-Мишель (1838—1882). — Французский государственный деятель. Адвокат. Защитник в политических процессах. В 1870 г. провозгласил в палате, после разгрома прусскими войсками французской армии, низвержение Наполеона III и всей его династии. Участвовал в правительстве национальной обороны и как военный министр сумел поднять народ на борьбу с немецкими войсками. После подавления коммуны (1871 г.) вошел в национальное собрание и стал вождем левых республиканцев. В 1875 г., с утверждением республики, пользовался большим авторитетом. С начала реакции был в оппозиции и только в 1881 г. составил кабинет. К этому времени он был уже умеренным в своих политических требованиях.

137. Мендельсон Станислав. — Известный деятель польского социалистического движения, эмигрант, участник ряда зарубежных изданий, один из основателей ППС. Впоследствии порвал с социализмом.

138. Варынский Людвиг (1856—1889). — Известный польский социалист. В 1878 г. бежал за границу, принимал деятельное участие в социалистическом движении в Австрии. В 1886 г. вернулся в Варшаву. Положил начало польской социалистической партии «Пролетариат». В 1883 г. арестован, в 1885 г. по делу «Пролетариата» приговорен к 16 годам каторги. Умер в Шлиссельбурге.

139. Длусский Казимир. — Польский социалист, один из редакторов органа партии «Пролетариат».

140. Романенко Герасим Григорьевич (1855—1928). — Народоволец, член Исполнительного Комитета после 1 марта 1881 г. Арестован в 1881 г., в следующем году выслан на 5 лет в Туркестан. Впоследствии — ярый националист и черносотенец.

141. Подолинский Сергей Андреевич. (Родился в 1849 г.). — По окончании университета уехал за границу, где сначала оказывал всяческую

поддержку П. Л. Лаврову, а потом сблизился с Драгомановым, стал деятельным членом украинской «Громады», писал в ее изданиях. В 80-х гг. безнадежно заболел, был привезен на родину, где вскоре умер.

142. Кафиеро Олимпиада Евграфовна. — Урожд. Кутузова. Жена Карло Кафиеро. В начале 70-х гг. жила за границей, была близка к Бакунину. Вернувшись в Россию, вела пропаганду в деревне. В 1879 г., как иностранная подданная, выслана за границу. В 1881 г. вернулась в Россию, где жила по подложному паспорту, и отвезена в Петербург в Дом предварительного заключения. В 1882 г. отправлена в Зап. Сибирь (в Ишим). В 1883 г. бежала из Ишима за границу. Жила потом в Швейцарии.

143. Гриневецкий Игнатий Иоакимович (1858—1881). — Народоволец. Вел пропаганду среди рабочих, работал в народовольческой типографии. В день 1 марта 1881 г. был одним из метальщиков. Когда после бомбы Рысакова Александр II остался невредим, вторым выступил Гриневецкий. Брошенный им снаряд убил царя и смертельно ранил самого Гриневецкого. Через несколько часов он умер, не назвавши своей фамилии.

144. Нечаев Сергей Геннадиевич (1847—1882). — Революционер несокрушимой энергии. Самоучка, получивший звание учителя. Играл руководящую роль в студенческом движении 1868—1869 гг. в Петербурге. Побывав за границей, сошелся там с Бакуниным и по приезде выдавал себя как представитель несуществующего комитета «Народной Расправы». Организовал в Москве первые кружки общества «Народная Расправа». В основу заговорщической организации был положен принцип железной дисциплины. После убийства студента Иванова членами кружка за неподчинение дисциплине, кружок был раскрыт, а Нечаев бежал за границу. В 1872 г. арестован в Швейцарии как уголовный преступник и выдан русскому правительству. Был приговорен к 20-летней каторге и посажен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, где сумел распропагандировать стражу и связался с волей. После раскрытия этой связи содержался в абсолютной изоляции и умер в равелине.

145. Топоркова Анна Григорьевна (род. в 1856 г.). — В начале 70-х гг. училась медицине в Швейцарии. В 1875 г. арестована в Иваново-Вознесенске на квартире, где собирались пропагандисты и хранилась литература. По процессу 50-ти была приговорена Сенатом к 4 годам заключения в рабочем доме и по ходатайству сестры была освобождена с отдачей под надзор полиции.

146. Хоржевская (Волховская) Александра Сергеевна (1856—1887).—Цюрихская студентка, революционерка. В 1877 г. по процессу 50-ти приговорена к 5 г. каторжн. работ, замененных ссылкою на поселение. Покончила с собою в Томске вследствие развившейся меланхолии.

147. Оловенникова Елизавета Николаевна (род. в 1858 г.). — Революционерка-народоволка. Принимала участие в наблюдениях за выездами Александра II перед 1 марта 1881 г. Арестованная по указанию предателя Рысакова, заключена в Петропавловскую крепость. Там она впала в психическое расстройство, так что судима не была. 8 лет провела в Казанской психиатрической лечебнице, а затем передана на попечение родных в Орловской губ., где значительно оправилась.

148. Александр III (1845—1894). — Русский император. Вступил на престол в 1881 г. после убийства Александра II. Он был умственно ограниченным человеком и резко высказывался против представительного собрания, выборного начала в России. Реакция при Александре III достигла наибольших размеров. Вместо ожидаемой обществом конституции он издал манифест, в котором говорилось: «в силу истины самодержавной власти, которую мы (Александр III) призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений». Наибольшим влиянием на Александра пользовался его воспитатель—мракобес Победоносцев.

149. Любатович (в замужестве Осташкина) Вера Спиридоновна (1855—1907). — Училась в Цюрихе вместе с сестрою, принимала участие в делах эмиграции, была наборщицей в журнале «Вперед». Судилась по процессу 50-ти (1877) и приговорена к ссылке в каторжные работы на 6 лет. По ее кассационной жалобе этот приговор заменен ссылкой на поселение в менее отдаленные места Сибири. Долго жила в Сибири, в 90-х гг. вернулась в Европейскую Россию.

150. Чикоидзе Михаил Николаевич (1852—1897). — Революционер 70-х гг. Один из инициаторов и деятельных членов московского кружка пропагандистов, судившегося в 1877 г. по процессу 50-ти. По этому делу Чикоидзе, просидевший 2 года в предварительном заключении, был приговорен к ссылке на поселение. В 1881 г. бежал из Сибири и в Москве примкнул к «Нар. Воле». Снова арестованный в 1883 г., приговорен к 3 г. каторжных работ, которые отбыл на Каре. 10 лет прожил на поселении в Якутской обл., затем был переведен в Курган, где вскоре умер от чахотки.

151. Потапов Яков Семенович (род. в 1860 г.). — Революционер-рабочий. Привлекался к дознанию по процессу 50-ти. Во время демонстрации на Казанской площади в декабре 1876 г., когда Г. В. Плеханов произносил перед собравшимися свою краткую речь, Потапов держал, поднятый на руках над толпой, развернутое красное знамя с надписью «Земля и Воля». Судом был приговорен к ссылке на поселение, замененной заключением в Соловецкий монастырь «на исправление».

152. Алексеев Петр Алексеевич (1849—1891). — Ткач. В 1869 году примкнул к кружку московских пропагандистов и, работая на разных фабриках, неустанно вел пропаганду. С 1875 по 1877 год сидел в тюрьме. Судился по процессу пятидесяти. Алексеев был осужден на десять лет каторги; по отбытии его поселили в дальнем улусе Якутской области. По пути в Якутск был убит с целью ограбления.

153. Иванчин-Писарев Александр Иванович (1846—1916). — Сын помещика. В начале 70-х годов работал в кружках учащихся, сблизился с чайковцами. В доставшемся ему, по наследству от отца, селе Потапово Ярославской губ. он пытался поставить нелегальную типографию, устраивал школу для крестьянских детей. В его имение съезжались революционеры, «ходившие в народ». В 1874 г. перешел на нелегальное положение, служил слесарем, кучером, волостным писарем. Примыкал к «Народной Воле». В 1881 г. арестован и выслан в Сибирь на 2 года, а затем срок был увеличен до 8 лет. Сотрудничал в органе партии «Нар. Воля», а с 80-х годов в легальных органах Сибири, Казани (1888 г.), Н.-Новгорода и в журналах. В 1912—1914 редактор легального органа эсеров, журнала «Заветы».

154. Лешерн фон-Герцфельд Мария Павловна, урожд. Мейнгардт, сестра А. П. Корба-Прибылевой (род. в 1847 г.). Активного участия в революционных выступлениях не принимала, хотя при случае оказывала ценные услуги революционерам. Принимала участие в устройстве побега П. А. Кропоткина из Николаевского госпиталя. Арестована никогда не была.

155. Дегаев Владимир Петрович. Младший брат известного С. П. Дегаева. Одно время он состоял агентом Судейкина, искренно полагая, что он может таким образом быть полезным революции. Но увидавши, что ему на этом пути не избежать предательства, он сознал свою ошибку и навсегда совершенно отказался от политической деятельности.

156. Богданович Юрий Николаевич (Кобозев) (1850—1888).—Член Исполнительного Комитета «Народной Воли». «Ходил в народ», ведя пропаганду среди крестьян Саратовской губернии. Был хозяином сырной лавки, откуда под Малую Садовую в Петербурге велся подкоп к месту предполагаемого проезда царя, с целью убить Александра II. После 1 марта скрылся и деятельно работал в Красном Кресте «Народной Воли» и в деле организации побега из Сибири политических. Арестован в 1882 году. Судился по

процессу семнадцати народовольцев и приговорен по делу об убийстве царя и другим террористическим актам к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Умер в Шлиссельбурге от чахотки.

157. Муравьев Николай Валерьянович (1850—1908). — Прокурор. Обвинитель по процессу 1 марта 1881 года. Позднее прокурор в Москве, Петербурге, государственный секретарь, министр юстиции, посол в Риме.

158. Санковский Николай (1851—1890). Не принадлежа к партии, 13 ноября 1886 г. по личной инициативе стрелял в шефа жандармов Черевина, но промахнулся. Был приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Каторгу провел на Каре. Вел борьбу с тюремной администрацией и, опасаясь телесного наказания на этой почве, покончил самоубийством. Помощником его в покушении на Черевина был Павел Мельников, приговоренный к 20 годам каторги. Каторгу отбывал тоже на Каре.

159. Судейкин Григорий Порфирьевич. — Инспектор секретной полиции. Убит 16 декабря 1883 г. на квартире С. Дегаева при его помощи Стародворским и Конашевичем.

160. Рысаков Николай Иванович (1861—1881). — Народоволец. Студент Горного института. Происходил из мещанской семьи. В день 1 марта 1881 г. он первый бросил бомбу; ее взрыв не причинил вреда Александру II. Арестованный, Рысаков пал духом и стал вести себя как настоящий предатель. Несмотря на это и на поданное им прошение о помиловании, все-таки был повешен 3 апреля 1881 г.

161. Михайлов Тимофей Михайлович (1859—1881).—Рабочий-народоволец, один из участников покушения 1 марта 1881 г. При аресте оказал вооруженное сопротивление. Повешен 3 апреля 1881 г. вместе с четырьмя другими «первомартовцами».

162. Плеве В. К. (1846—1904). — Директор департамента. Наиболее яркий представитель царизма конца XIX и начала XX вв. В 80-х гг. упорно борется с народовольцами. В 90-х гг. воюет с независимостью финляндского народа. После убийства Сипягина назначается министром внутренних дел. Под его руководством подавляются крестьянские волнения, устраиваются еврейские погромы. Разгоняя рабочие организации, он одно время поддерживает зубатовщину (полицейскую форму легального рабочего движения), стараясь отвлечь пролетариат от революционной борьбы. Преследуя студенчество, земства, он возбудил к себе всеобщую ненависть. Был одним из инициаторов русско-японской войны, надеясь отвлечь этим революционную энергию масс. Убит 15 июля 1904 г. эсером Созоновым в Петербурге.

163. Веймар Орест Эдуардович, доктор (1845—1885). — Был знаком со многими революционерами и оказывал им помощь. Его подозревали в участии в покушении Соловьева на Александра II и убийстве С. Кравчинским Мезенцова. Был арестован в 1879 г., а в мае 1880 г. приговорен к 10 годам каторги, которую отбывал на Каре до 1885 г., когда вышел в «вольную команду». Тихомиров, характеризуя Веймара, говорит, что «Орест, доктор медицины, отличавшийся в турецкой войне, имел, кроме состояния, собственное лечебное заведение. В кружках он не участвовал нигде, но вполне сочувствовал революции. Он и лично участвовал в дерзком и преловком освобождении князя Кропоткина из Николаевской больницы. Укрывал у себя друзей».

164. Суханов Николай Евгеньевич (1853—1882). — Видный народоволец, один из выдающихся членов военной организации «Нар. Воли». Морской офицер. Судился по процессу 20-ти. Расстрелян в Кронштадте 19 марта 1882 года.

165. «Дегаев начал выдавать, и у них появилась возможность всех арестовать, а не входить в соглашение» (М. Фроленко — прим. к рук.).

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Цена 1 р. 75 к.



ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

1. Правлению Издательства политкаторжан — Москва, ГСП-10, Лопухинский пер., 5; тел. 3-64-73.
2. Магазину Издательства политкаторжан „МАЯК“ — Москва-центр, Петровка, 7; тел. 4-18-12 и 3-63-20.